

Ирина Михайлова

Воздушная тревога

(повесть)

Август

1

Наш поезд опаздывает на несколько часов. Все выходят из своих купе, потому что там стоит невыносимая жара, и садятся в проходе прямо на сумки. Но и здесь дышать нечем.

Поезд подъезжает медленно, в окна ничего не видно, словно при сильном утреннем тумане. Но сейчас, летом, в восемь часов вечера, такой страшный полумрак непривычен.

- Вас кто-то встречает? – спрашивает меня соседка по купе.

«Нет», - хочу сказать я, но передумываю, иначе она обязательно привяжется.

- Я позвоню отцу, - вру я, хотя отца у меня уже почти год, как нет.

Она кивает и отходит в сторону. Спрашивает у кого-то ещё. Неужели боится выходить отсюда одна?

Наконец, поезд останавливается. Появляются очертания фигур, слышатся разговоры. Значит, это вокзал. Должен быть вокзал. Но вокзала нет. Вместо него – сплошной стеной дым - наш поезд въезжает прямо в него.

Никто не торопится выходить. Всем кажется, что это ещё не Москва, не может быть Москвой. Но это Белорусский вокзал.

Я помню - перед самым моим отъездом в Россию, Вильфрид показывал мне в немецких газетах фотографии птиц, падающих с неба замертво, и людей, закрывающих платками рот и нос, и всё твердил:

- Это Москва. Это Москва.

Я не верила ему, а он всё равно тыкал пальцем в эти фотографии и всё повторял:

- Москва, Москва.

Всё повторял и повторял, пока я не бросила газету на пол и не начала говорить быстро-быстро по-русски, забывшись, тогда он схватил меня за руку и сказал фразу, какую недавно выучил:

- Пожалуйста, говори медленно. Я ничего не понимаю.

Я выхожу на перрон и пытаюсь вдохнуть. Но воздуха нет. Вместо него эта мутная гарь. Достая повязку, которую купил мне Вильфрид, смачиваю её немецкой водой. Легче не становится, но становится не так страшно.

- Такси? – на перроне, как охотники, уже столпились частные водители.

- Сколько возьмёте? – спрашиваю я.

- Три тысячи.

- У меня только евро.

- Возьму евро.

Я сажусь в машину. Водитель сразу закрывает окна и включает кондиционер.

- Давно здесь так? – спрашиваю.

- С июля. Два месяца почти. Сегодня ещё ничего. Было хуже. – Он улыбается, хотя я знаю, что и ему страшно. - Привыкаем. Говорят, гарь сойдёт только в октябре.

Мы едем медленно, на ощупь, словно по неосвещённой трассе.

- Где была? – он опять улыбается мне.

- В Германии.

- Хорошо там?

- Хорошо.

- А чего вернулась, раз хорошо? – смеётся.

Я пожимаю плечами – не знаю, что сказать. Он совсем молодой, в Москву приехал недавно, и здесь ему плохо. Но он не уедет. А из Германии, где хорошо, уехал бы? Хотя он никогда не был в Германии. Вообще, нигде не был.

- Много сейчас работы? – спрашиваю.

- Не особо. Со всех берём по три штуки, но едем еле-еле. Только бензин сжигать.

Я даю ему сто евро - подарок Вильфрида. Это больше, чем три тысячи. Но других денег у меня нет.

Он уезжает, и я почти сразу перестаю видеть его машину.

Мама сегодня не позвонит – я сказала ей, что приеду только на следующей неделе. В новостях советуют закрыть окна, чтобы не задохнуться ночью от дыма – и я закрываю. Ложусь в ванной, потому что в комнатах дышать нечем, закрываю плотно дверь. Вдруг понимаю – если я задохнусь, меня станут искать не скоро. Звоню маме.

- Уже приехала? – спрашивает она.

- Да.

- Может, мне прийти?

- Не надо. Поздно уже.

- Как там?

Там – это в Германии, откуда я только что вернулась.

- Хорошо, - говорю я то, что говорила уже в такси.

- Собеседование когда?

- Завтра.

- Позвони, когда сходишь.

Вешаю трубку. Сажусь на пол в ванной и включаю холодную воду – становится легче.

...

Собеседование должно быть сегодня. В этом году я окончила институт и решила устроиться работать в школу. Вильфрид не понимал. Пока я жила у него, он всё время говорил:

- Зачем тебе возвращаться? Ты можешь жить здесь. Выучи язык, сдай экзамен. Ты можешь работать.

- Мне нужно подумать. Это слишком сложно – вот так всё бросить, - отвечала я. Хотя иногда я действительно не понимала – почему я просто не могу остаться? Ведь можно же оформить документы, подать прошение. Всё это можно. Но я ничего этого не делала.

А сегодня утром я проснулась уже в своей маленькой однокомнатной квартире, а не в большом двухэтажном доме, и стала собираться не в горы, куда ходили с Вильфридом каждый день, а на собеседование в школу.

...

Школа, в которую я шла работать сразу после Литературного института – самая обыкновенная, общеобразовательная. Она находится в посёлке Калина – самом неблагополучном районе Люберец. Раньше я даже не слышала о таком районе. Я родилась в центре Люберец – в сталинской пятиэтажке, с высокими потолками и большими комнатами. Училась в Первой люберецкой гимназии, в классе, где учиться плохо считалось позором, и где равнялись только на отличников, хотя тайно их ненавидели и завидовали им. Я никогда не переходила в другую школу и даже в другой класс, и поэтому не могла представить, что где-то может быть иначе.

Посёлок Калинина, а сокращённо просто «посёлок» или «Калинин», стоял на самой границе с Москвой. Через несколько домов уже строили метро, и начинался московский район Выхино. Школа эта служила своеобразной преградой между центром Люберец и Москвой. И все, кто не попал в центр и не попал в Москву, оказывались здесь – в этой школе.

Посёлок был построен в советское время, когда в этом районе было принято решение построить большой завод имени Ухтомского. Этот завод когда-то представлял из себя целый город. Отдельное закрытое государство, куда можно было въехать только по пропускам, и куда не было доступа людям, не относящимся к этой заводской жизни.

Завод и построил этот район – бараки, в которых жили первые рабочие, завезённые сюда большей частью из других, более отдалённых городов, сменили на панельные и кирпичные пятиэтажки, которые сейчас все называют хрущёвки, хотя построены они были в разное время.

У посёлка была ещё одна особенность – близость к Москве. Поэтому совсем недавно здесь стали появляться новостройки, постепенно

оттесняющие пятиэтажки, и в них стали селиться те, кто не мог себе позволить жить в Москве, но очень хотел. Тогда они приезжали сюда, а их дети тоже учились в этой школе. Вот куда я собиралась идти работать сразу после окончания Литературного института.

Все, кто узнавал, куда я иду, отговаривали.

- Это же ужас, - говорили мне, - с таким образованием лезть в такую грязь!

Особенно переживала мама. Она сама была учителем немецкого языка. В молодости работала в сельской восьмилетке с одной параллелью, где, как говорила, дети учили только математику и русский.

- Но я как раз буду вести русский, - пыталась шутить я.

Мама шуток не понимает.

- Знаешь, что мне кричали, когда я шла по коридору? «Гитлер, капут».

- Сейчас бы кричали «Гитлер, хайль», - опять шучу я.

Потом мама работала здесь, в Люберцах. Но, когда я была в шестом классе, ушла в Москву на склад с лекарствами. Владелец платил двенадцать тысяч рублей в месяц и в свой день рождения оплачивал всем ресторан. Мама до сих пор работает на этом складе. Она говорит, что никогда не жалела, но это не так.

В школе ещё никого нет. Тихо и хорошо. У дверей курит молодой охранник. Предлагает мне сигарету, начинает что-то рассказывать. Он в тяжёлых зашнурованных берцах и бейсболке. Если бы не рост, можно было бы принять его за старшеклассника. Показывает, где кабинет директора.

Директор быстро представляется - учитель французского и физики. Старше меня вдвое. Смотрит в упор. Кивает на стул. Берёт диплом, долго его рассматривает.

Мне становится неловко. Сажу в белой рубашке и брюках, к которым ещё не привыкла, с чемоданчиком, который скорее подошёл бы для курьера, сжимаю его так, будто хотят отобрать. У него жарко, мои ладони потеют, и я думаю – если мне нужно будет что-то подписать, ручка просто выскользнет.

Но он не даёт никаких бумаг. Просто сидит напротив и смотрит – то на меня, то в диплом. Точно сверяет.

- Зачем тебе школа? – спрашивает так устало, словно ему всё это так же не нужно, как и мне.

Этот вопрос мне уже задавали, и я отвечаю заученной фразой.

- Я хочу работать с детьми.

Он, конечно, не верит.

- Со своим дипломом ты можешь работать журналистом или редактором. Тебе не обязательно идти сюда. У нас небольшая зарплата и классы непростые, особенно восьмой.

- Я согласна.

Он молчит. Не знает, что придумать, чтобы я отказалась.

- Ты уже работала с детьми?

- Нет.

- Как же ты собираешься их учить?

Мне хочется спросить – а как он сам их учит? Но я только пожимаю плечами.

Подходит к окну. У него в кабинете большое окно, открытое настежь. Смотрит в него, словно принимает какое-то важное решение, а может просто забыл обо мне.

- Я скажу сразу. С нашими детьми работать сложно. Детей берём со всего района. Вот какие есть – таких и берём. Не все молодые учителя справляются. Придут на месяц – и уйдут. Тебе это надо? Шла бы в колледж. Там попроще.

Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но замираю. Удивительно – он отговаривает меня. Он – директор школы, вместо того, чтобы сказать стандартное - «мы вам позвоним» - меня отговаривает.

- Вы не хотите меня брать? – спрашиваю.

- Не хочу. Дети привыкнут, а ты сбежишь через неделю. Придётся опять кого-то искать.

- Мне куда бежать, - шучу я.

Но он не улыбается.

- Я сам окончил эту школу. Хорошо район знаешь?

- Нет. Я живу в центре, на улице Кирова.

- Ухтомский завод помнишь? - он указывает на серое здание, торчащее из-за домов, похожее на школу, только с длинными не дымящимися трубами. - Так вот он эту школу и построил. Здесь учились дети заводских. После восьми классов шли работать на тот же завод. Из всего моего выпуска я один поступил в институт.

- А сейчас кто здесь учится?

- Увидишь. – Он садится на своё место.

- Почему Литературный институт? – опять смотрит в диплом. – Хочешь стать писателем?

- Возможно.

- Пишешь стихи?

- Нет.

- Ладно, - отдаёт мне документы, - может быть, тебе будет легче понять этих детей. Ты не так уж далеко ушла от них.

Может быть. Может быть. На самом деле, мне всё равно. Я не собираюсь их понимать. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое – вот и всё, что мне нужно. Эта школа, скрытая в посёлке от всего остального мира, кажется мне самой подходящей. До всего остального мне нет абсолютно никакого дела. Я смотрю на серое здание с не дымящимися трубами.

- Его сейчас, кажется, закрыли, - говорю.

- Закрыли. Директор сбежал куда-то со всеми деньгами.

- Ищут?

- Ищут.

Руки на прощание не жмёт и даже не провожает. Смотрит вслед.

- Взяли? – спрашивает охранник.

- Взяли.

– Тогда добро пожаловать в дурдом, - смеётся.

Я выхожу и вдруг чувствую – через неделю осень. Это страшное лето позади. И всё пойдёт по кругу. Заново.

Я оборачиваюсь. Охранник всё ещё стоит у дверей и курит. Машинально машет рукой. Мне хочется помахать ему в ответ, но я отворачиваюсь и стараюсь запомнить дорогу сюда.

...

Мне дали три класса – два пятых и один восьмой. В восьмом – классное руководство. Это немного – всего двадцать пять часов в неделю, то есть по пять уроков каждый день. Другие учителя работают больше – по семь или восемь уроков в день, хотя учительская ставка – восемнадцать часов в неделю, то есть по четыре урока. Но восемнадцать часов не работает никто. Тридцать – это средняя нагрузка каждого, так что мне ещё повезло.

Мой кабинет в самом конце длинного, словно тюремного, коридора. С левой стороны большие деревянные окна с мутными стёклами и занавесками, не достигающими и до половины окна. Справа – туалет для девочек, директорская, совмещённая с секретарской, кабинет математики, следом истории и потом – мой.

Перед первым сентября двери во всех кабинетах открыты, оттуда слышатся покрякивания ещё не знакомых мне учителей, недовольные бурчания детей и звук сдвигаемой мебели. Идёт генеральная уборка.

Те учителя, за которыми закреплены кабинеты, в джинсах и старых свитерах, какие не жалко испачкать, вместе с детьми дряют парты, подоконники, полы, шкафы. Отдирают накопленные за год жвачки от пола, парт и стульев, моют окна, встав на стул, а стул поставив на парту. Из каждого класса слышно:

- Можно я пойду домой? Я свою часть класса вымыл.

- Где ты вымыл? Жвачек ещё полный угол.

Семиклассник, самый забитый и послушный, потому что никто больше добровольно не согласится прийти до сентября в школу, уныло идёт со

старым алюминиевым ведром, на котором, красными буквами нарисован номер кабинета, в туалет и набирает воду, а потом плетётся в класс, расплёскивая её по дороге.

Из кабинета математики выставлена в коридор вся мебель – и путь до моего класса заставлен. Я пробираюсь через эти парты и стулья и заглядываю в класс. Учительница математики – очень полная и неповоротливая женщина сидит за своим столом, единственным, что осталось в кабинете. А взрослые уже, видимо, десятый или одиннадцатый класс, дети на корточках трут линолеум.

Мой кабинет открыт, но там никого нет. Я захожу и плотно закрываю за собой дверь.

Мой кабинет именно такой, какие я всегда терпеть не могла. Зелёные стены, сверху на четверть побеленные, салатовые шторы, желтоватые батареи, потолки в разводах, страшный огромный вентиляционный короб свисает с потолка. Вентиляция ведёт в соседний класс – и мне слышно всё, что там происходит. А им, видимо, всё, что будет происходить у меня.

В дверь кто-то стучится и, не дожидаясь, пока я открою, заходит.

- А, тебе этот кабинет отдали, - почему-то делается ударение на слове «этот», как будто он какой-то особенный.

Ко мне заходит женщина лет сорока пяти. Короткая стрижка, джинсы, свитер. И не скажешь, что учитель, если бы не хриплый, но хорошо поставленный громкий голос.

- Какие тебе дали классы? – говорит.

- Один восьмой и два пятых.

- А восьмой какой?

- Кажется, «А».

Она удивлённо и даже немного с ужасом на меня посмотрела.

- Восьмой «А»? – она переспросила так, словно я сказала, что иду в специальные войска, а не в восьмой класс.

- А что с ним не так? – переспрашиваю уже я.

- Тебе, наверное, будет сложно. Ты же только после института.

Она как-то внимательно осматривает мой кабинет, точно никогда его раньше не видела.

- Тебе надо бы шторы постирать. Их в том году никто не снимал. И возьми плакаты в вашей лаборантской – от их предыдущей классной остались. Там и по русскому, и с писателями всякими.

Я киваю.

- А что нужно делать на первых уроках? – спрашиваю я.

Она садится за парту.

- Самое главное – сразу рассади их. Обычно они, если видят молодого учителя, пытаются надавить на него, подмять под себя. И первое, что они делают – это садятся, как они сами хотят. Не допускай этого. Потрать урок, два, три, но они должны сесть так, как ты хочешь. Пока их не знаешь – сажай мальчика с девочкой. Потом ты уже поймёшь – кто с кем дружит, кто с кем болтает на уроке. И сажай так, чтобы им было максимально некомфортно. Запомни – на уроке должно быть комфортно только одному человеку. Это – тебе. Остальным должно быть неудобно. Это первое. Второе – добейся, чтобы у них были дневники. В дневник ты пишешь послания родителям, ставишь оценки и так далее. Дети все подсознательно этого боятся, даже самые оторвы. Если дневника нет – они не боятся ничего. Дальше – добивайся тишины в классе. Двойками, руганью, чем хочешь. Если всё это у тебя получится – считай, полдела сделано.

- А если нет?

- Тогда ты зря потратишь здесь время.

Она уходит.

Я поддвигаю парту ближе к подоконнику, на парту ставлю стул и залезаю на него. Шторы пахнут пылью, она накопилась в них за целый год. Я снимаю их и скидываю на пол – они светло-зелёной кучкой теперь лежат внизу.

В лаборантской никого нет. Она представляет собой маленькую комнатку, смежную с кабинетом русского языка и литературы. Она вся завалена какими-то бумагами, портретами писателей, книгами, учебниками. Я роюсь в них и

нахожу несколько плакатов - со сложными предложениями и с причастиями. Забираю себе. Забираю портрет Лермонтова, который попадаетея мне случайно на глаза.

Всё это я пытаюсь развесить в моём классе. Вешаю прямо на стены, на скотч, около доски.

Пока это всё, что есть в моём кабинете. Я сгребая шторы, засовываю их в пакет и, протискиваясь через мебель в коридоре, точно вор, иду к выходу.

...

Сегодня вечером мама осталась у меня ночевать.

Она съехала летом, пока меня не было дома. Почти все свои вещи она забрала с собой – их за всю мамину жизнь здесь оказалось не так много. Что мама не взяла – так и осталось валяться по углам, словно разбросанное нарочно. Когда я вернулась, я собрала эти юбки и блузки в большой пакет. Платьев не было. Мама их не носит. Сейчас этот пакет стоит у выхода.

Мы ложимся в одной комнате. Совсем как раньше.

- Как вы живёте? – спрашиваю. – Он работает?

- Работал, - мама при выключенном свете мажет руки моим кремом, и я чувствую его запах. – Их сократили.

- Но он хоть ищет?

- Ты же знаешь, как сейчас сложно.

Мама познакомилась с ним год назад. Через полгода после развода с моим отцом.

Он тоже был разведён. Работал грузчиком на складе, где работала сама мама. Там и познакомились.

Она тогда привела его в нашу квартиру, и он мне ужасно не понравился. Всё в нём не понравилось: его огромный рост, большие, как у великана, руки, грубый громкий голос, словно он всё время хочет кого-то перекричать, его манера на всё отвечать – «ничего, прорвёмся» - точно мы на войне.

Он не был похож на моего отца. Мой отец совсем другой. Невысокий, молчаливый, тихий. А этот – верзила. Когда он заходил к нам, приносил с

собой вой и шум тысяч заводских труб. Он так некстати смотрелся в нашей маленькой квартире, словно не вмещался в неё.

- Надеюсь, он не будет жить с нами, - сказала тогда я. – Мне бы не хотелось такого отца.

- Не будет. У тебя уже был один, - ответила мама.

Они сняли комнату. Мне казалось естественным и правильным – что уходит она, а не я.

С тех пор, как мама ушла, мы почти не говорили друг с другом.

- Какие у вас соседи? – спрашиваю я.

- Хорошие. Две семьи. Одни без детей – как и мы.

Я отворачиваюсь к стене.

- Я приду к вам, посмотрю.

- Не надо. Что там смотреть, - говорит мама.

Я слушаю, как дышит мама. Мне всегда было спокойно от того, что она спала рядом, и всё казалось таким простым и разрешимым. Любая проблема тут же растворялась, когда я ложилась и просто слушала.

- Как у тебя с ним? – спрашивает уже мама.

Он – это Вильфрид. Я вспоминаю – он сейчас далеко. Когда он провожал меня на поезд, то всё время повторял по-немецки:

- Ты можешь что-то сказать мне, если хочешь. Сейчас ещё есть время.

Я молчала. Я не знала, что сказать ему. Я возвращалась домой, и мне казалось, что времени больше не осталось.

Я не отвечаю маме и делаю вид, что уже засыпаю.

- Уснула? – мамин шёпот.

Я молчу, и она отворачивается. Чувствую – она крестится на ночь. И, наверное, крестит меня. Она не особо верит, не ходит в церковь, но думает, что это может помочь. А я верю, но иногда мне кажется, что не может.

Отец приехал, когда Вика окончила седьмой класс.

Приехал неожиданно, на своей фуре, в конце лета, не позвонив, Приехал впервые за год. И Вика не сразу узнала его.

- Иди, встречай, - говорит ей бабушка. Она первая увидела его в окно. Начинает тут же накрывать на стол.

Она спокойна и не удивлена, словно отец приехал не из Москвы, а пришёл с суток, как раньше.

- Иди, чего стоишь?

Но Вика не хочешь. Ей кажется, что что-то случилось, что отец приехал бы не просто так.

Отец не звонит в дверь и даже не стучит – заходит так. Дверь в вашем маленьком Балашове закрывается только на ночь. Он сразу приносит в дом незнакомые запахи, суету, шум.

- Вы всё не запираетесь? – смеётся он. Громко, и Вике кажется – как-то неестественно.

Он на неё почти не смотрит, проходит на кухню. Медленно разувается. Потом снимает футболку, бросает прямо на пол. Вика её подбирает, относит в ванну. От неё пахнет машиной и мужским запахом, от которого она отвыкла.

- А чего у нас брать-то? – бабушка толкает внучку. – Иди, собери на стол в комнате. Не здесь же сидеть.

Вика из комнаты наблюдает, как отец долго умывается, моет руки, плечи, наклонившись над раковиной. Он всегда мылся холодной водой.

- А чего Наталью не привёз? – кричит бабушка с кухни. – Пожили бы.

- Работает Наташка.

Бабушка молчит. Злится, что приехал один, без жены - её дочери.

Отец, не одеваясь, в одних трусах, проходит в комнату, садится в кресло у стола.

- Пятнадцать часов ехал, - говорит, - устал.

Бабушка собирает на стол всё, что есть. К концу августа уже готово варенье, солёные огурцы, маринованный чеснок.

- Грибов в этом году мало, - говорит она, словно оправдываясь, - сухо очень. Так бы засолила. В Москве-то как?

- Нормально. Жарко.

- Дорого всё, небось?

- По-всякому. Хватает. Сами как?

Бабушка не отвечает. Машет рукой. Отворачивается. Соскучилась по дочери. Не видела год. А раз не привёз – до следующего лета уже не увидит.

- Когда обратно? – спрашивает она.

- Завтра надо выехать.

- А чего так скоро?

- Работа у меня. Один день простоя здесь – пять тысяч там теряю.

Вика смотрит на отца, как на незнакомого. Она помнит черты его лица. Помнит его нос, почти такой же, как у неё. Плечи, широкие скулы. Цвет его глаз, его руки – большие, мужские, с синими проступающими венами. Помнит его голос – не такой, как по телефону - ниже, хриплый, точно при простуде.

За год она не видела его фотографий. А ей бы хотелось узнать – как менялось его лицо. Ей бы хотелось положить эти снимки в ряд, за каждый месяц, и посмотреть – каким был тогда отец. Был ли он серьёзный или, скосив чуть вбок уголок губ, улыбался. Эту особенность – улыбаться только уголками губ - он передал ей. Она тоже так делает, когда её никто не видит.

Отец быстро ест, словно торопится. Без хлеба, не дождавшись чая. Наверное, так привык в Москве. Потом отодвигает тарелку и закуривает прямо в комнате.

- Выпить-то есть?

Бабушка несёт настойку, которой уже несколько лет, потому что никто в доме не пьёт, а Вику отправляет стелить отцу постель.

Бабушка прикрывает дверь, но Вика слышит её шёпот.

- Без меня-то быстро решили. Вы уедете, а я куда?

- Тебя в деревню, в Майское. Жильцов я в эту квартиру нашёл. Деньги с них будешь брать себе.

- Всё рассчитал. – Бабушка начинает убирать со стола. Уходит на кухню. Гремит посудой. Хлопает дверцами. Злится.

- Не шуми. – Кричит ей отец. – Решили всё.

Бабушка молчит. Знает, что этот год вы жили на его деньги – потому и молчит.

- У ребёнка-то спросил – хочет она ехать?

- Спрошу.

- Спроси, спроси. А то решили они... Девчонка выросла, друзья у неё тут.

- Там найдёт.

- Всё у тебя легко!

Значит, он приехал за ней. Вика это поняла сразу. Она всегда знала, что приедет отец и заберёт её. Через год или два. Или когда она окончит школу. Она знала, что он не вернётся сюда жить. Никто не возвращается из Москвы обратно.

- Ну что, - отец заходит в комнату, обнимает Вику за плечи. Не так, как обнимал раньше. По-другому. – Завтра поедем.

Говорит как-то неуверенно. Точно просит. Хотя он не привык ничего просить.

- Что я буду там делать? – спрашивает Вика.

- А здесь ты что делаешь?

- Живу.

- И там жизнь.

Он стоит и не знает, что ещё сказать.

- У меня там никого нет, - говорит Вика.

- А что у тебя здесь? – отец садится на кровать, опять закуривает и стряхивает пепел на пол. От него пахнет клюквенной настойкой и одеколоном. – В этом болоте? Что у тебя здесь? Пятнадцать квадратных метров? – отец окидывает глазами комнату, которую видел много раз. – И бабка. А другого ведь не будет. Никогда. Ничего не будет. – Он притягивает Вику за руку, и она садится с ним рядом. - Ты знаешь, какие там дома, какие там люди? Они всё могут. Всё, что захотят. Что ты здесь можешь? Ничего. А там – там всё есть. Всё. Деньги там валяются под ногами. Тысячи. Только поднимай. Я там могу так раскрутиться! У нас там комната хорошая есть. В Люберцах. От Москвы недалеко. Потом что-нибудь придумаем. Ну что у тебя здесь?

Вика молчит и вдруг понимает – он ничего не знает о ней. Как она будет жить с ним?

- Я пойду. – Говорит она.

- Подожди, - он опять берёт её за руку, так крепко, точно она должна вот-вот исчезнуть. - Ты так изменилась. Подросла.

- Мне четырнадцать.

- Я знаю. Мне бабка прислала фотографию. Но это не то. Не то. Я знаю, что тебе четырнадцать. – Он повторил это несколько раз, точно не был уверен. – Понимаешь, отсюда бежать надо. Бежать. Родился – и беги. Как можно дальше.

- В Москву?

- Хотя бы.

- А потом куда?

- Потом? А что потом? Потом ничего нет.

Вика встаёт.

- Не уходи далеко.

Как будто здесь есть куда уйти.

Город можно обойти за несколько часов. От дома - на Привокзальную. Мимо детского сада. Мимо парка. До стадиона. Свернуть на Карла Маркса.

Это час. Пойти к вокзалу и посидеть около памятника Ленину – пятнадцать минут. По Софинской улице до церкви – тридцать. За город на реку, через центральную больницу - два часа.

Но Вика не хочет. Она всё это видела сотни раз. Куда же ей идти в этом городе?

Ничего нет. Бежать. Бежать. Она бежала, когда уезжал отец. Наматывала круги вокруг дома, когда уехала мама. Бежала из школы домой, потому что ждала звонка из Москвы. Из дома в школу, потому что звонка не было. Бежать. А теперь должна уехать. И кажется – бежать некуда.

...

В школе темно, и пахнет свежей краской. Каждое лето школу ремонтируют. Кладут новый линолеум, белят потолок. А за год всё опять становится никуда не годным. Все шутят – школу ремонтируют, чтобы учителям можно было подработать. Там, и правда, всегда работали учителя и старшеклассники.

Сейчас здесь никого. Двери тяжёлые, дубовые. Вика их с трудом открывает.

- Не рано пришла? – на охране незнакомый человек. - Тебе кого надо? Ты из какого класса?

- Здесь сейчас есть кто-нибудь? - Вика садится на лавочку, на которой обычно сидят те, кто прогуливает уроки.

- Никого. – Он немного растерялся. – Лето же.

Вика встаёт и идёт на второй этаж к кабинетам.

Это хорошо, что никого. Ей бы не хотелось никого видеть. Пришлось бы что-то объяснять, как-то прощаться. Она не любит этого. Она бы хотела оставить им всем записку и написать только одно – «я уехала, а вы остались». Им всем. Учителям, одноклассникам, друзьям. Они все останутся здесь. Навсегда. Им некуда ехать. У них ничего не будет. А она сюда никогда не вернётся.

Начнётся сентябрь, они придут и спросят о ней. А она в Москве. Они узнают. Они удивятся. Они не поверят. Они придут после уроков, все вместе, к ней домой. А там уже совсем чужие люди. И её нет.словно она умерла, словно её никогда не было в этом городе, на этой улице. Они пойдут по своим

делам, своими дорогами. Вика знает их наизусть. Они все знают их наизусть. И могут ходить по ним с закрытыми глазами. А у неё будет своя дорога. Много дорог. Сотни. Их в Москве не сосчитать.

Она садится на подоконник. Обычно запрещают это делать, но сейчас можно.

- Не стоит здесь сидеть, - охранник поднялся за ней и стоит рядом.

- Мне всё равно. Я уезжаю. – Говорит она и смотрит на него – верит или нет. - В Москву.

- В Москву? Так далеко? – смеётся. Не верит.

- В Москву.

- И когда же?

- Завтра.

- И всё-таки не сиди здесь.

Он уходит, а Вика пишет на подоконнике маркером своё имя, точно это что-то изменит. Хотя знает, что эти подоконники всё равно будут красить, и её имя сотрётся.

Вике кажется – в Москве так легко потеряться. Вдруг она выйдет в школу – и не сможет найти дорогу. Надо будет обязательно записать адрес нового дома. А бабушка? Она останется здесь? Ей-то уже никуда не надо. А если она заболит? Она последнее время часто болеет. А мама? Вика не видела её так долго. А если она её не узнает? Нет, были же фото. А что взять? У неё и одежды никакой нет. Что там носят? Что слушают? Москва. Вика не знает о ней ничего. Она представляет её как большой район с тысячью-тысячью улиц и метро. У неё была схема. Можно выйти на любой станции – и это будет Москва. Потом опять спуститься – и выйти уже на другой. И это тоже будет Москва.

Из её класса ещё никто никуда не уезжал. Она будет первая.

...

Пока ехали, отец многое рассказал.

Как познакомился с Викиной мамой в техникуме – они оба учились там, только отец на слесаря, а мама на повара. Потом - армия. Когда пришёл – стали встречались. Женился, когда уже появилась Вика.

Гулять стал сразу. Мама с Викой, а он – к девкам. Так и сказал.

- А что, я только с армии. Мне двадцать лет. Погулять хочется, а твоей матери не до этого. – Он махнул рукой, - в деревне этой ничего не скроешь.

Это он про Балашов.

- Мама всё узнала? – спросила Вика.

- Бабка твоя узнала и всё ей рассказала. Хотели меня выгнать, но тебе год был. Из-за тебя и остался.

Бабушка тогда сказала маме очень просто – «тебя замуж кто гнал? Вот кого выбрала – с тем и живи. Глаза видали, кого выбирали».

Пока Вика была маленькая, работали вместе - на одном текстильном заводе.

- А потом завод закрыли, мы и остались без работы. Ты – в первом классе, а дома жрать нечего. Прямо, как в 90-е.

В Балашове два завода было - текстильный и мясомолочный. Закрыли один, потом второй.

- Варианта осталось два, где работать. Почта и железнодорожная станция. Больше идти некуда. Но там всё уже было занято. Мы же не одни без работы сидели. Решили торговать.

Рынков в Балашове ещё не было. То есть, был один – с продуктами. Но это не в счёт. И вдруг стали появляться палатки с новыми модными тряпками, сумками, кожаными куртками, позолоченными часами.

- В общем, всякое барахло, - говорил отец. - Сняли палатку, место, поставили. Я взял машину в аренду, стал ездить в Саратов, закупал дешёвых шмоток, цены поставили в полтора раза выше. Проторговали месяц. А потом пришли ребята, объяснили, чьё место мы заняли. И всё, что не продали, пришлось везти обратно в Саратов, отдавать за бесценок. Спорить я с ними не хотел, сама понимаешь, ты в школу одна ходишь, мало ли что, город-то маленький. В общем, я не хотел, чтобы ты домой не вернулась. Долгов

получилось, конечно, много. Вспоминать не хочу, как выбирался из всего этого. Как к бабке твоей на поклон шёл. Это после всего – к ней на поклон. Только ради тебя денег и насобираала. Дала.

Вот тогда появилась мысль – Москва.

- А в Москве таких ребят нет? – спросила Вика.

- Есть. Но в Москве договориться проще. Всё уже куплено и поделено. А у нас-то всё с опозданием. Только делить начали и до сих пор никак не поделят. В Москве понятно – кому платить, а кому нет. В Москве – это бизнес. Бизнесмены все, а не пацаны с монтировкой.

- А разница между ними есть?

- Разница? Да нет. Но Москва – это Москва. Сама увидишь.

Как жил первое время в Москве – отец говорить не стал. Как нашёл нужных людей, как стал возить вещи. Где только не был... Как нашёл комнату, перевёз мать, а Вику оставил с бабушкой.

- Не рада, что едем? – спрашивает отец.

- Страшно.

- А мне не страшно было, когда ночью в фуре спал посреди поля? Но я же для тебя всё. Если бы не ты, бросил бы всё к чёрту.

- А мама?

- А что мама? Разве с ней жизнь?

- А чего бы ты хотел?

- Жить бы в деревне, в своём доме. Своё хозяйство. Земля, поле. Всё бы было. И не надо ничего другого.

- Так почему же нет?

- Да куда я теперь? Впрягся уже. Хочу взять ипотеку. Квартиру где-нибудь в области купить. На первый взнос накопил. Мы с тобой в Москве будем жить. Как все живут.

Вика слушала всё это очень долго, и ей было жалко отца. Она представила – он один, посреди поля, ночью, в фуре. А вокруг какие-то ребята с монтировками, которые требуют денег.

А где-то там – Москва. Город, в котором всё есть. Где много красивых домов. Где все живут счастливо. И отец едет в этот город быстро и почти без остановок.

...

Школу нашли очень быстро – прямо напротив дома. Вику взяли без собеседования. Спросили только про оценки.

- Троек почти не было, - ответила Вика, - только русский сложно.

Директор кивнул и ничего не сказал.

Осень

1

Утром, перед своим первым днём в школе, я жутко волнуюсь. Открываю ящик стола, где храню сигареты, зажигалку, блюдце вместо пепельницы. Всё это лежит на самом дне – под кучей моих бумаг, оставшихся после института. Достая сначала их, выкладываю на стол. Машинально смотрю. Рукописи, начатые и незаконченные повести, отзывы моего мастера по семинару - всё это после получения диплома было свалено в одну кучу и засунуто в ящик.

Я писала в институте очень много. Остались отрывки, отдельные фразы, планы будущих работ. Какой-то незаконченный роман про семью. Случайно читаю строки – «Первое, что помню из своего детства – похороны. Хоронили деда Михаила, маминого отца». А под этим – кипа исписанных бумаг. Мой мастер на творческом семинаре часто говорил – «не надо ничего выдумывать. Семья, дом, люди, с которыми сталкиваетесь - вот об этом надо писать».

Запихиваю всё это обратно.

Мама не любила, когда я курю в квартире – приходилось прятать. Хотя, она всё равно замечала, приходила вечером:

- Мне кажется, пахнет дымом.

- Может соседи или с улицы, - врала я.

- Не похоже.

Но больше ничего не говорила.

Сейчас, когда мама живёт отдельно, прячу по привычке.

Закуриваю. Наливаю чай. Капаю в пепельницу, чтобы не дымило. Сажу. Выходить через тридцать минут. Думаю, что надеть. У меня и одежды подходящей нет. Только майки, джинсы, кеды, как у подростка. Есть только один пиджак, который мне купил Вильфрид. Ищу джинсы попримочнее, без потёртостей и рваных карманов. Потом передумываю, надеваю брюки. Вроде ничего. На учителя, конечно, всё равно не похожа.

Смотрю в зеркало. Маленького роста, улыбка какая-то кривая, волосы короткие – надо бы отрастить. Сутулюсь. Выпрямляю спину. Ну и какой я учитель! Я бы никогда не взяла себя в эту школу, ни в какую школу. Видно, у них совсем там дела плохи, раз берут такую, как я. «Учитель – это образец. С него будут брать пример», - прочитала я где-то.

Школа недалеко, и я иду пешком мимо церкви. Ещё нет восьми – но уже бьют колокола. Тревожно и зыбко. Никого нет. И от этого колокола бьют сильнее и тревожнее. Словно хотят кого-то разбудить. Какая-то девушка стоит перед входом в церковные ворота, но не заходит. Долго крестится. Вид у неё – словно решается на что-то.

Я давно не заходила в церковь. И, наверное, я бы тоже стояла так, думая, что меня никто не видит, если бы однажды захотела прийти сюда.

Но я не хочу. Я иду мимо. Мимо бесконечного звона этих колоколов, от которых кружится голова и всё вокруг превращается в бессмысленный поток никому не нужных воспоминаний.

Мне семь лет. Бабушка спрашивает – знаю ли я какую-нибудь молитву. А я не знаю ни одной. Тогда она берёт толстую книгу, всю исписанную от руки, выбирает и долго, нараспев, несколько раз, читает мне «Отче наш».

- Я умру, а ты будешь молиться за меня, - говорит она.

Она умерла, когда я пошла в девятый класс. Но я ни разу не молилась за неё.

В школе уже полно народу. Бегут куда-то по своим делам. Я не могу понять, кто из них родители, кто учителя, а кто дети. И как найти свой класс – не имею представления. Я ещё никого не знаю.

- Ты новый учитель? – кричит мне из толпы женщина.

Волосы каштановые, вьются, подняты вверх, но выбиваются. Накраситься успела – уложиться нет. Белая блузка. Юбка выше колен. Чёрные колготки. Каблуки. На первый взгляд – лет сорок. Но ещё очень красивая.

Она протягивает мне листок бумаги и синий маркер.

– Линейки не будет, так что пиши. А то ты их потом не соберёшь всех.

- А что писать?

- Пиши крупно - 8«А». И стой здесь. Они к тебе подойдут. Вы же ещё не знаете друг друга.

Я беру листок и пишу крупно в центре синим цветом – 8 «А».

Стою посреди коридора с этой дурацкой табличкой.

Из актового зала выходят люди. Обходят меня, идут по своим классам, не обращают на меня никакого внимания. Кажется, почти все вышли, никого не осталось, и я стою одна.

- Нам к вам идти? - она кажется старше меня, но я догадываюсь - ей всего четырнадцать, и она, видимо, в моём классе.

Я оглядываюсь вокруг себя, потом поворачиваюсь к ней.

- Видимо, да. Здесь больше никого нет.

- Тогда я зову остальных. – Она уходит, но оборачивается. - Уберите эту табличку. Это смешно.

Я долго не могу открыть ключом дверь своего кабинета. Пока, наконец, один из парней не ударил по ней кулаком.

...

Я как учитель захожу первая. Они – сразу за мной. Садятся подальше от меня, по трое и по четверо за одну парту. Болтают, смеются. Лето прошло, давно не виделись, новостей много.

Первый урок – классный час. Но я совершенно не знаю, что им говорить. Поэтому просто пишу на доске своё имя, отчество. Получается плохо, криво, не так, как должно быть. И отчество такое длинное, что не умещается в одну строчку. Я боюсь сделать ошибку. Стираю. Пишу заново.

Они сидят за пустыми партами, сбившись вместе, точно перед опасностью. Начинают шуметь – кто-то смеётся в голос, кто-то включает ролики на телефоне, кто-то толкается, кто-то громко кричит, пытаюсь кого-то переспорить.

Я вспоминаю советы своей соседки из кабинета рядом. Нужно их пересадить, нужно их усадить на места, нужно... нужно... Дальше я забываю.

- Сядьте, пожалуйста, по двое! – я сама не замечаю, как начинаю перекрикивать.

Но они не двигаются с места.

- Сядьте по двое! – кричу я уже громче, но никакого результата нет.

- Достаньте, пожалуйста, дневники! - я отчаянно пытаюсь перекричать шум.
– Вы должны записать новое расписание!

Стало только хуже.

- У меня нет дневника! – кричит один.

- Я ещё не купил! – второй.

- Зачем он вообще нужен?

- В том году у меня не было.

- Я посмотрю в электронном.

- Дайте листочек – я запишу.

- Напишите на доске – мы сфотографируем.

- Хорошо! Хорошо! – сдаюсь я, - не надо дневников. Я раздам листочки. Запишите на них.

Но они опять стали выкрикивать, как будто не умели говорить тихо.

- У меня нет ручки!

- Дайте ручку!

- У кого есть?

- Ни у кого!

- Я в том году здесь ручку оставил! Можно я поищу?

- Да у тебя ручки никогда не было!

Теперь крики перемешивались с громким смехом.

- Я дам ручки! – я уже не замечаю, как тоже кричу, - передавайте друг другу. Я запишу расписание на доске.

Я отдаю им все ручки, какие были у меня, и долго, медленно вывожу на доске их расписание уроков. Я исписала всю доску, но, когда обернулась, увидела, что никто ничего за мной не записывал. Многие сделали из моих листочков самолётики и бросали ими друг в друга. Вспоминаю, что должна зачитать им правила поведения в школе, а они должны послушать и расписаться. Но я уже понимаю, что послушать и расписаться здесь будет сложно.

- Я зачитаю вам правила поведения, - беру распечатку. – Пожалуйста, послушайте. Вы должны приходить не позднее 8:15. Вы не должны опаздывать на уроки. У вас должна быть с собой сменная обувь и физкультурная форма, если она нужна... Вы должны...

Я пробиралась сквозь шум и голоса двадцати человек, словно путешественник в тропиках через заросли и топи. Но меня абсолютно никто не слушает. Наконец, тот парень, который открыл дверь кулаком, встал, подошёл ко мне, забрал эту распечатку.

- Но я ещё не прочитала, - попыталась возразить я.

Он обернулся ко мне.

- Мы должны расписаться? - спросил он. – Тогда вы уже перестанете орать?

Я машинально кивнула.

Тогда он расписался в ней и передал остальным, а я продолжала растерянно стоять у доски.

- Да вы не старайтесь, - слышу я голос, - вы у нас уже третья. Так что вы тоже долго не задержитесь.

Я ищу глазами того, кто это сказал, но не нахожу.

Девчонка сидит на второй парте и смотрит на меня открыто. Длинные тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Сидит с мальчиком, держит его за руку. Он ей быстро надоест – она знает это, но ей нравится держать его за руку, чтобы все видели.

Парень сидит у самого окна. Он надел наушники и смотрит что-то в телефоне. Видимо, он пришёл просто отсидеть своё время, чтобы ему не поставили пропуск. Ещё два парня стоят у стены и о чём-то агрессивно спорят, вот-вот подерутся.

Две девчонки отгородились планшетом. Ещё одна громко ищет зарядку для телефона, залезая во все сумки.

Я смотрю на них на всех – пока для меня это просто строчки в журнале. В этой массе без имён и фамилий я ещё никого не различаю, но они уже мне не нравятся.

...

- Ну как прошёл первый день? – тихая и очень спокойная завуч по средней школе садится за парту.

Она ведёт биологию, в основном, в старших классах. У неё неторопливая правильная речь, тихий голос, спокойная интонация. Именно так я себе всегда представляла учителя биологии, разбирающего клетки и цепочки ДНК. Именно так, наверное, должен выглядеть учитель, а не так, как выгляжу сейчас я – растеряно и суетливо. Я думаю, что ей больше подойдёт работать в институте, не с детьми, а со взрослыми уже студентами. У неё и имя подходящее – Любовь Александровна. Нараспев, не спеша, достойно. Но она тоже здесь, как и я. Сейчас мы ничем друг от друга не отличаемся.

- По-моему, не очень, - честно призналась я, - восьмой класс не смогла даже усадить и успокоить.

- У тебя какой восьмой? «А»?

- «А».

- Это нормально, - она махнула рукой, - они у нас особенные. Поговори с Галиной Ивановной. Она работала у них в том году. В мае она сказала – «необучаемые» - и посоветовала распустить этот класс. Может быть, мы так и сделаем. Так что продержись немного. Но вообще, - она как-то задумалась, - они любят молодых. Может, у тебя как раз получится.

- Не знаю. По-моему, им было всё равно, есть я в классе или нет.

- Они привыкнут. И ты тоже. Я в этой школе много лет – и чего только не видела. Но ясно одно – все рано или поздно выпустятся, и все привыкают. Надо просто их приручить.

Она уходит. А я остаюсь и думаю о том, что не хочу, и никогда не хотела, никого приручать, приучать, не хотела никому нравиться. И совершенно не знаю, как это делать.

...

Мама звонит мне редко. И только по делу. Мы никогда не говорим долго. Всего несколько слов - только самое необходимое. Точно хотим убедиться, что мы живы.

Иногда мне хочется просто набрать мамин номер и послушать голос. Но я знаю, что она узнает меня и будет кричать в трубку – «это ты? Перезвони мне, я ничего не слышу».

И я не звоню. Особенно, с тех пор, как мама ушла. Даже раньше – с тех пор, как умер мой отец.

...

Девятнадцатого декабря по паспорту отцу исполнилось бы шестьдесят лет. Но это по паспорту. А так он родился девятнадцатого октября.

В его свидетельстве о рождении в своё время перепутали месяц - вместо октября написали декабрь. Он хотел поменять эту дату, но не поменял. Так и жил с этой путаницей. Часто говорил - «надо бы сходить», но не ходил. Не любил все эти учреждения. А сейчас это уже не важно.

Сегодня год как он умер. Мама знает, что в этот день мне не надо звонить. Но всё равно звонит. Я не беру трубку ни домашнего, ни мобильного. Не

люблю все эти разговоры, что надо бы идти на кладбище и всё такое... Я не была там с лета, а в церкви не была с отпевания.

Его отпевали в той церкви, мимо которой я теперь хожу в школу.

Большая, красивая церковь. Белая. Её недавно отстроили. Собирали деньги на строительство со всех Люберец. Отец и сам собирал для них деньги – я видела у него именной брелок. Нашла после его смерти в коробке с дедовыми медалями. «Жертвуя – обретаем» - написано на нём. И имя моего отца. Там же нашла иконку «Неупиваемая чаша», которую я ему подарила когда-то. Я и не знала, что он её хранил.

Он всегда очень странно относился к Богу. Я не видела, чтобы он молился или крестился. Не видела, чтобы он как-то упоминал Бога. Но мне кажется, он его боялся. Как боялась его мать - моя бабушка. Она часто говорила, что боится умирать, что она очень грешная и боится попасть в ад. Она говорила это всерьёз. Она была очень верующей. Наверное, слишком верующей. Я знаю – все боятся умирать, но она боялась как-то особенно. Не смерти – а того, что будет после неё. Не того, что ничего может не быть, а того, что непременно будет. Обязательно будет. Наверное, если бы ей сказали, что Бога нет – она бы успокоилась. Но она знала, что он есть, и боялась именно этого.

У неё в доме было очень много икон. Больших, красивых, в резных деревянных окладах. После её смерти отец забрал половину и повесил их в нашей квартире. А после развода и размена квартиры он забрал их себе в комнату. Ничего больше не забрал - только диван, шкаф и эти иконы. Они и сейчас висят там. Я не знаю – что мне с ними делать. Мама говорит – «отнеси в церковь». Но я не хочу.

Зачем они там?

Мне кажется, отец тоже боялся умереть. Поэтому и забрал эти иконы. Он думал, они помогут.

Он всегда носил крест. Никогда не снимал его и не терял. Носил на какой-то грязной верёвке. Я хотела купить ему цепочку, но он всегда говорил – «цепочка порвётся, а верёвка прочнее». Это правда. Он умер с этим крестом. Его и хоронили с ним. Только сняли – освятить – и опять надели.

Ещё он забрал старый толстый молитвослов на старославянском. Отец не мог его прочитать – он бы не разобрался, но он его хранил. Зачем?

После пятого звонка мне пришлось взять трубку.

- До тебя не дозвониться. – Это мама.

- Я не пойду никуда.

Молчит.

Мы с ним тогда почти не общались и почти не созванивались. Поздно вечером позвонила соседка, попросила меня вызвать ему скорую.

- Что мне сказать? – спросила я.

- Скажи, сердце.

Но это оказалось не сердце.

Отец умер в ту же ночь в Ухтомской больнице. Скорее всего, его даже не успели посмотреть. Привезли в одиннадцать вечера, а в 23:40 он уже умер. Позвонили только утром.

- Открылась язва, - сказал врач.

- Но у него не было язвы.

- Значит, была. Он пил?

- Пил.

- А что же вы тогда хотели?

Потом начались разговоры – «надо же, как рано умер». Как же я ненавидела их слова. Я не понимала, почему все удивляются. Я знала, что он умрёт. В эту ночь или после. Или задолго до... Я знала, что он умрёт. С тех пор как они развелись, с тех пор как поменяли квартиру, с тех пор как он стал жить в этой пропитой насквозь коммуналке и сам стал пить непробудно. Это должно было случиться – странно, что это не случилось раньше.

- Он звонил мне за неделю до этого, просил денег. Я знала, что он пьёт со своего дня рождения, но ничего не сделала. – Говорила я маме.

- Что тут сделаешь! Что сейчас об этом говорить?

Мы не говорили.

Мама звонила всем сама. Я слышала только одно. «Умер. Язва. Двадцать восьмого ночью. Хороним тридцать первого». И так несколько раз.

Мы до сих пор не говорим.

Хоронить его никто не пришёл. Только я, мама, соседи по коммуналке, в которой он жил последний год, кое-кто с работы.

Телефон звонит шестой раз. Я отключаю его и выхожу на улицу.

Иду к церкви.

...

Наверное, сегодня так же тепло и хорошо, как год назад. Странно – я не помню, в чём тогда была одета. Я вообще почти ничего не помню. Как шла, было ли холодно или нет. Шёл ли дождь. Кажется, дождь пошёл на второй день, я ещё подумала – было бы неплохо посмотреть – не побило ли цветы на могиле. Кажется, на мне были кроссовки и зимнее пальто... Как странно надевать кроссовки и зимнее пальто...

У входа в церковь как всегда стоят – просят милостыню. Я высыпаю им всю мелочь из карманов. Они благодарят как-то очень громко. Сегодня будни – и, наверное, мало народу.

Внутри идти не хочется. Я сажусь на лавочку сбоку от входа. Никого нет. Тихо. И хочется спать от этой тишины.

Отец лежал в новом костюме, накрытый белой тканью, маленький и спокойный. Он совсем не изменился. Во главе гроба стоял священник. Читал молитвы быстро – ничего было не понять. Потом сказал, что мы должны молиться и помочь мёртвому войти в Царствие небесное. Или что-то в этом роде.

- Здесь будете прощаться? – спросил.

- Здесь.

- Прощайтесь.

Мы прощались. Целовали икону на груди и на лбу. Я дотронулась до его лица – захотелось поправить его волосы.

- Ну чем мы могли ему помочь! - сказала мама.

Глаза закрываются от яркого света. Церковь совершенно белая. От стен отражается утреннее осеннее солнце и бьёт по глазам.

...

Когда я шла работать в школу, я представляла себе многое – маленькую зарплату, большие классы, восемь уроков в день, бесконечное заполнение журналов и отчётов, сложные темы и каверзные вопросы. Но я не представляла, что основная моя работа будет сводиться к тому, что первую половину урока я пытаюсь отобрать у учеников карты, а вторую, плюнув на эти бесполезные попытки, пытаюсь объяснить хоть что-то, отвлекаясь на бесконечные их разговоры, замечания, которые не имеют никакого отношения ни к вводным словам, ни к сложным предложениям, ни к Пушкину.

Сегодня я слышу шорох и толкотню у своего кабинета.

- Ты что-нибудь видишь? Подвинься, дай посмотреть!

- Отстань! Что ты меня толкаешь. Достал уже!

- Ты смотрел, а я ещё нет.

- Я всё равно ничего не вижу.

- Слушай, Андрюх, дай мне!

Они толкаются у хрупкой деревянной двери, которая вот-вот развалится от их напора, заглядывают в щёлочку, но, видимо, не могут ничего толком разглядеть. Наконец, один из них отходит к окну, недовольно бросает сумку на пол и садится на подоконник.

К нему тут же подлетают остальные и забрасывают вопросами.

- Ты видел?

- Не знаю, - бурчит он.

- Блин... – девчонка бросает сумку рядом и садится прямо на пол.

- Забей! – с ней рядом опускается на корточки Андрей и облокачивается на стену. Он невысокий, но плотный парень, - мы всё равно ничего делать не будем. Лично мне плевать.

- Ага! А аттестат тебе не нужен?

- Аттестат и так дадут. Школе показатели нужны, ты чё! Статистика. Так что живём как раньше. Всё равно она ненадолго. Сатана только одну четверть выдержала. Эта тоже скоро свалит.

- А если не свалит?

- Свалит, ты чё, нас не знаешь?

К ним подходят ещё ребята. Уже набирается человек двадцать. Между ними пронёсся слух, что будет контрольная, и они засуетились, забегали, поэтому толкаются у моего кабинета, чтобы посмотреть, что я пишу на доске.

Наконец, дверь открывается. Из класса весело вываливаются пятиклассники. Одного из них за шиворот ловит Андрей.

- Ну что? – спрашивает он.

Пятиклассник пытается вырваться, но у него не получается.

- Отстань. – Мычит он себе под нос. - Спрашивала, какие книги мы любим. Я ничё не писал.

Андрей отпускает его, и пятиклассник бежит дальше, радостный оттого, что ушёл целым.

А мои двадцать восьмиклассников продолжают толпиться у двери.

...

- Можно? – грубый бас, словно это не мальчики, а взрослые мужики.

Я стою у доски, оборачиваюсь на своих взрослых учеников и говорю:

- Заходите.

Они заваливаются сразу всей своей массой.

Заваливаются с шумом, смехом. Садятся на последние парты, как всегда, вместе, все за одну парту. Сдвигают с грохотом стулья и садятся спиной ко мне, к доске.

Я сначала не обращаю внимания и молча раскладываю на своём рабочем столе учебники, методички, пособия, тетради, ручки. Всё это я купила недавно и разложила в две аккуратные стопочки – пятый и восьмой класс. Пятый класс от меня уже ушёл. Теперь пришёл восьмой.

Прозвенел звонок. Но его почти не слышно из-за шума, который стоит в кабинете и коридоре. Я закрываю дверь.

- Звонок был, - говорю я. Этой фразе я уже научилась.

Ученики должны встать, поприветствовать меня, приготовить учебники, тетради и сесть. Но ничего этого не происходит.

Несколько девочек сели поближе ко мне. Остальные как сидели на последних партах спиной ко мне, так и продолжают сидеть. Только кое-кто обернулся, сел вполоборота и украдкой посматривает – что я буду делать.

Я беру линейку и стучу ею по столу. Но этот стук тоже тонет в общем шуме.

Пишу на доске список вопросов, на которые они должны сегодня ответить. Но они даже не смотрят в мою сторону, словно демонстративно. И я бессмысленно стою у доски в центре класса. Несколько раз я пытаюсь перекричать их, но перекричать двадцать человек, которые говорят все одновременно и громко, невозможно.

- Не обращайтесь внимания, они всегда так, - говорит мне девчонка, которая села на первую парту, открыла чистую тетрадь в линейку и приготовилась писать.

- Не понимаю, как же вы всё это время учились? – спрашиваю я.

- Вот так. Кто хотел, сидел ближе к доске, кто не хотел – садился назад.

- Нет. Так не пойдёт.

Я вспоминаю, как вычитала однажды на каком-то педагогическом сайте, что в любом классе есть зачинщик и заводила, что надо его найти и переманить на свою сторону. Я собираюсь с силами и подхожу к последним партам.

- Кто у вас тут самый главный? – спрашиваю.

Они на секунду затихают. Задумались.

Смотрю на них. Итак, нас двадцать один. Мы ничего не знаем друг о друге. Мы оказались здесь случайно, а через год также случайно окажемся где-нибудь в другом месте. С другими людьми. А по сути – ничего не изменится.

И нет никакой разницы – сделаю я ошибку в своём отчестве или нет. Они его всё равно не запомнят. Как и я не запомню эти двадцать имён, до которых мне нет абсолютно никакого дела.

- Ты? – я смотрю на самого высокого из них. В моём представлении, кто выше – тот и главный.

Класс взрывается хохотом.

- Осёл, ты теперь будешь главный, - гогочут они.

Высокий парень краснеет, его лицо, некрасивое и рябое становится ещё некрасивее. Только сейчас я замечаю, что он очень худой и какой-то весь нескладный.

- Тогда кто? – спрашиваю уже не так уверенно.

Они молчат. Сидят теперь, чуть притихнув, уткнувшись в телефоны.

Один – маленький и невзрачный – лёг на парту, на всякий случай положив учебник и неподписанную тетрадь. Он сидит за партой один, без компании – но видно, что он ждёт только приглашения, возможности быть допущенным ко всем остальным.

Другой – тоже сидит один, но, прислонившись к окну и развалившись на парте, включил музыку в телефоне и громко слушает её.

Некоторые девчонки сидят отдельно, чуть ближе ко мне, и иногда посматривают на меня, ждут решение всего класса. Если я сумею всех построить, они тоже подчинятся, если нет – то нет.

Но основная масса – двенадцать человек – сидят вокруг одной парты, навалившись друг на друга. Я замечаю у них в руках карты, которые они тайком, но раздают под партой.

Я отмечаю про себя – «тайком», значит, они всё-таки боятся.

- Хорошо, - говорю я, - давайте так. Запишем сегодня основное, а потом можете делать, что хотите.

- Нет, - говорит один из них. Невысокий, плотный, с сильными руками. - У нас всегда было так. Кто хочет – тот пишет. Кто не хочет – сидит тут.

- Но вы же мешаете. И если кто-то зайдёт... - мой голос становится совсем тихим. Его уже и не слышно.

- Тебя как зовут? – спрашиваю у этого спортсмена. Догадываюсь, что, видимо, он и есть самый главный тут.

- Каракулов Андрей, - говорит он и отворачивается от меня.

- Хорошо. – Сдаюсь я. - Сегодня можете отдыхать. Но завтра вы сядете по двое, как и положено, принесёте тетради и будете учиться.

Андрей даже не ухмыльнулся. Он не посмотрел на меня и ничего не ответил, как будто он здесь учитель, а не я. Может, так оно и есть.

Я возвращаюсь к себе и сажусь за свой стол. Открываю журнал.

- А тебя как зовут? – спрашиваю у девчонки с первой парты.

Она всё ещё сидит с открытой тетрадью, готовая делать то, что я ей скажу. Мне хочется спросить – почему она здесь, почему не идёт ко всем?

- Эля. Бавиловская, - говорит она тихо.

- Ты, наверное, отличница?

- Нет. С русским не очень. И с химией.

Я рассказываю ей одной тему урока и мысленно молюсь, чтобы никто из других учителей не зашёл ко мне. Мне почему-то стыдно за себя.

Какой-то парень тянет руку.

- Да! – кричу ему я.

- Вы должны дать нам талоны на обед, - говорит он. – Тем, кто ест льготно в столовой.

- А кто у вас ест? – спрашиваю я и ищу талоны.

Про обеды в столовой мне никто не говорил.

- Я!

- И я!

- Я тоже!

- Ты-то чего?

- Я всегда ем!

- Так, так, подождите! – останавливаю их я, - не все вместе. Я должна записать фамилии и причину льготы. Давайте по одному.

- Савинков. Потеря кормильца.

- Разина. Малоимущие.

- Смирнов. Нет отца.

- Фомичёва. Многодетные.

- Сухов. Опекунский.

Они говорят быстро, тараторя. Я еле успеваю.

- Я поищу талоны и принесу вам, - говорю.

- Мы вообще-то сейчас должны есть, - говорит один из парней, - как мы пойдём? Я голодный.

- Да ты всегда голодный! – смеются над ним.

- Всё ясно. Об этом вы не подумали, - обиделся тот парень, который спросил про талоны, - вам на это плевать.

- Тебя как зовут? – спрашиваю я.

- Какая вам разница, как нас зовут, - вмешивается Андрей, - просто найдите эти талоны и дайте нам. Мы сами раздадим.

Я не успеваю ничего сказать – звенит звонок.

Они, не обращая на меня внимания, с шумом выходят, оставляя после себя бумажки, ручки, карандаши, перевёрнутые стулья, которые с грохотом падали. Всё это валяется теперь – и кабинет, украшенный мною плакатами с весёлыми надписями – «Здравствуй, осень!» и «Первое сентября», смотрится уныло и грязно.

Остаётся только один парень – тот самый, с красным некрасивым лицом.

- Почему ты не уходишь? – спрашиваю я.

- Я дежурный. – Буркнул он. - У вас веник в углу, как у Галины Ивановны?

Не дожидаясь ответа, он берёт веник, савок и начинает молча, как-то обречённо, подметать пол.

...

- Продержаться в школе месяц – значит, остаться надолго. Через месяц становится понятно, что ты из себя представляешь, кто твои ученики и сможешь ли ты работать, - говорит мне в маленьком туалете для учителей Валентина Борисовна, та самая, что давала советы в мой первый рабочий день.

Её кабинет рядом с моим, и она слышит всё, что происходит в моём классе. Споры, ругань, мои уговоры, их протесты. Несколько раз она заглядывала ко мне, и тогда мои ученики успокаивались и сидели какое-то время тихо. Её они боятся.

Она тоже пришла работать в школу недавно. До школы она занималась бизнесом, с мужем держала палатку недалеко отсюда. Такие палатки были раньше разбросаны по всем Люберцам, в них продавали сигареты, пиво, чипсы, сухарики, жвачки. Так можно было найти работу, поговорить о своих проблемах, встретить того, с кем можно выпить или провести время. Каждый знал, что если в кармане есть только одна мелочь, нужно идти к такой палатке. Это был как мираж в пустыне. Там можно было достать всё и в любое время. Никто никогда не спрашивал паспорт – и продавали алкоголь кому угодно и когда угодно. Это был отдельный мир, в узкое окошечко которого можно было заглянуть и найти всё.

Но лет пять назад вышел закон – все уличные ларьки убрать. По городу покатила волна. Первыми полетели палатки в центре, около Вечного огня. Потом – на рынке, ближе к станции. Посёлок Калинина, как отдельное государство, держался до последнего. Но и он сдался.

Кто мог – ушёл в большие торговые центры. Там можно было поставить такую же точно палатку, только уже дороже. Кто не смог – разорился.

Валентина Борисовна, или просто Борисовна, как её называют учителя, ушла с улицы последняя. Ей угрожали конкуренты из торгового центра, тогда только что построенного. Её закрывали. Но сдалась она только, когда облили бензином и подожгли дверь её квартиры. Тогда она оставила свой бизнес и

вспомнила, что когда-то училась в педагогическом институте. И ушла работать в эту школу, мимо которой столько лет ходила в свою палатку. Стала учителем истории, или просто историчкой, как говорят дети.

Она грубая, всегда говорит конкретно и прямо, даже с учениками, поэтому её боятся и отчасти уважают.

Она закуривает сигарету и протягивает пачку мне. Курить в школе категорически запрещено. Даже на территории. Но все курят. Охранник закрывается у себя в комнатке. Информатик дымит в своей лаборантской каждую перемену, пока нет детей – и под конец дня туда невозможно зайти. Кто-то бежит за школу. Но большинство закрывается в маленьком учительском туалете на первом этаже.

Не курить в школе нельзя. После каждого урока мне хочется постоять спокойно одной или поговорить со взрослым человеком, поэтому я спускаюсь на первый этаж в нашу негласную «курилку».

- Тебе надо выработать тактику, - говорит Борисовна, - с каждым учеником свою. Одного надо пожалеть и понять, другого – только ругать, с третьем договориться. Это и есть индивидуальный подход, а не то, что тебе рассказывали в институте. Когда я пришла сюда первый год, мне дали выпускать класс. Первый год – и сразу выпускной, представляешь? В классе тогда было пятнадцать мальчиков, а это, сама знаешь, что такое. Водка в пластиковых стаканчиках, сигареты, мат. Решили никуда не везти, отмечать выпускной здесь – в школе. Закрыли двери, окна. Я лично проверяла карманы на входе. Сумки свои они сложили в кабинете, и мы их заперли. Они до утра за мной ходили – я ни в какую. Вручили аттестаты, накрыли им стол, потом дискотека. И хоть бы один улизнул или напился – все сидели грустные, но трезвые. Но чего нам это стоило! Я лично грудью стояла, закрывая собой выход – и пока всё не закончилось, ни один не вышел. Но мне помог мой бизнес, когда я точно так же грудью стояла и защищала свой магазин. А тебе надо привыкать.

Она тушит сигарету об раковину и выбрасывает в мусор.

Я думаю о том, что я бы не смогла их сдержать. Это значит, что я плохой учитель? И как далеко сейчас моё бывшее представление о функции учителя в школе с тем, что мне приходится видеть, слышать и делать здесь.

...

Даже через два месяца жизнь в восьмом классе не стала иной. Они по-прежнему отказывались садиться по двое, отказывались придвигаться ближе ко мне и отказывались носить учебники и тетради.

Я взяла в библиотеке ещё один комплект учебников и раздаю им на уроке. Иногда они что-то читают и пишут, но, в основном, только делают вид. При этом они всё время ругаются на уроках, выясняют отношения, спорят, орут друг на друга. Я удивляюсь – неужели нельзя общаться на переменах или после школы? Но у них как будто срабатывает какой-то рефлекс, как у животных. И, заходя в класс, они тут же начинают что-то друг другу доказывать, как быки, оказавшиеся на одной узкой улочке.

В пятом классе не так. Они, конечно, тоже забывают учебники, теряют тетради, но они пишут, молчат и делают то, что я им говорю. С неохотой, с претензиями, с попытками меня уговорить их отпустить, но делают.

Восьмой класс не делает ничего.

Недавно я дала им написать сочинение – «Какие книги я читаю?» Даже не сочинение, а ответы на вопросы:

1. Какие книги я прочитал за лето?
2. Какие книги я читал не из школьной программы?
3. Какие книги я люблю и почему?

Вопросы на доске я писала дольше, чем они свои ответы. Сейчас эти листочки с их ответами лежат у меня на столе.

Из двадцати листочков три были абсолютно пустые – кроме фамилии на них ничего не было. Ещё три работы были очень краткие:

1. Никакие
2. Никакие
3. Никакие

На одной работе было написано крупно поперёк листа одно слово – «НЕ КАКИХ». На ещё одной просто и понятно – «ПОЖАЛУСТА НЕ СТАВТЕ ДВА!»

Некоторые листочки были всё-таки исписаны. Я бросаю взгляд на них.

«Я нелюблю книги, потому что в них всё не правда. Зачем тратить время и придумывать что-то? Я люблю играть потому что это лучше. Я читаю только в школе но всё равно не люблю».

«Я не люблю читать потому что читаю плохо и меня ругают (и ещё смеются другие). Это обидно поэтому я лучше буду молчать»

«Книги... Не знаю. У меня с ними сложные отношения. С одной стороны хорошо что они есть и можно узнавать что-то новое и интересное. Но с другой это сложно прочитать книгу. Нужно внимание, а все говорят что у меня его нет. Во обще я читаю только учебники, потому что они нужны для школы»

«Я люблю читать. Но я не люблю школьную программу. Это скучно. В 7 классе мы читали про детство писателя Горького, зачем мне знать про его детство?! Я люблю фантастику и ужасы. Я вам советую прочитать. Если хотите... Я вам принесу. Только не говорите остальным...!!!!»

«Если бы у меня было столько же свободного времени, сколько у писателей, я бы читал. Но я очень занят. Я больше люблю спорт. Такой как футбол. А вы любите спорт? Какой?»

«Вы читаете книги потому что это ваша работа. А у меня другая задача. Я больше люблю компьютер»

«Перестаньте задавать эти вопросы про книги. Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!»

Только четыре работы были действительно написаны. Это четыре девочки. Одну из них я уже знала – это Эля с первой парты. Трёх других ещё нет.

Их листочки, помятые, исписанные кривыми детскими нетвёрдыми почерками, заставили меня улыбнуться. Первый раз за время здесь. Они так искренне, можно даже сказать, от всего сердца, отвечали на эти вопросы, старались, когда могли бы просто ничего не писать. Но они написали. И написали очень много. Трое обещали принести свои любимые книжки. Ещё двое обещали, если я задам, что-то прочитать. Ещё несколько написали, что стесняются читать слух и попросили никогда, не при каких обстоятельствах, их не спрашивать. Кто-то умолял не ставить «два» или хотя бы не ставить в журнал. Кто-то написал, что его любимый предмет – география, и он читает только карты. Кто-то – что химия, но таблицу он ещё не выучил. Хотя о любимом предмете я не спрашивала. Это должно было стать вторым сочинением.

Последний листок Андрея Каракулова.

«Мне не нужны в жизни книги. Зачем их вообще писать? Писатели – это бездельники. В них нет смысла. Я никогда не читал и не буду читать. Так что не тратьте время, чтобы заставить меня. Это бесполезно. Спросите у Галины Ивановны. У вас ничего не получится. Вы уйдёте так же, как и все другие. Запомните это. П.С. И не делайте вид, что вам важно наше мнение. На самом деле, вам на это плевать. Вы просто делаете свою работу»

Его сочинение, написанное без ошибок и аккуратно, теперь лежала сверху. Самое удивительное – я могла согласиться с каждым его словом.

...

Больше всего мне нравятся первые урок в восьмом классе. На них обычно никто не ходит, кроме тех, кто давно не был, и им надо засветиться, как они говорят, и тех, кто пытается хорошо учиться. Поэтому на первом уроке обычно тишина. Я могу что-то рассказать тем десяти ученикам, кто всё-таки пришёл.

Но сегодня в классе ажиотаж. Как-то само собой класс разделился на мальчиков и девочек и громко спорит.

- Да она дура просто и всё, - доносилось с половины мальчиков.

- Сам ты дурак, - это девчонки. – Молчи, вообще!

- Сядьте! – говорю я.

Но класс уже завёлся, несмотря на раннее утро. Девочки готовы броситься на мальчиков. А мальчики смеются и обороняются от них орфографическими словарями, которые всегда лежат на последней парте.

Сегодня я пытаюсь рисовать на доске схему сложносочинённых предложений. Мел крошится – он уже весь исписался, и остался только маленький кусочек.

- Можно я схожу за мелом? Я знаю, куда! – кричит с места парень.

Это Ярослав Чекалин, которого все называют Чекушка. Он очень подвижный и весёлый, всё время смеётся, и я не видела его грустным никогда, хотя настроение у моих учеников меняется каждый урок.

- Ага... К себе домой пойдёт, и больше мы его сегодня не увидим, - смеётся девчонка, которая сидит перед ним.

Он смял в круглый маленький комочек свой листок, где пытался срисовывать за мной с доски схему, и бросил в неё.

- Идиот! – она обернулась и толкнула его так, что он чуть не улетел со стула.

- Ты что, психованная? – он кинул в неё другим комочком бумаги.

Я подхожу к ним и встаю между.

- Всё, хватит! – говорю.

- А что он! – кричит девчонка и обиженно отворачивается.

- А чё ты лезешь? – он немного притих, но не успокоился полностью.

Я уже знаю – стоит мне в такой ситуации отойти, как потасовка продолжится. Поэтому я бросаю свои схемы и стою между ними.

- Не обращайтесь внимания, - говорит другая девчонка, - она его кинула, вот он и бесится.

- Заткнись! – теперь он замахнулся в другую, но бумага кончилась – не из чего сделать комочки.

На свой страх и риск я возвращаюсь к доске, продолжаю чертить схему. Но меня уже никто не слушает. Девчонки теперь шепчутся между собой. А этот светленький весёлый парень, практически единственный мой слушатель, теперь погрузился и опустил голову.

Через минуту опять потасовка.

- Что такое? – я опять встаю между ними, как вставала чуть ли не каждый урок на этой неделе.

- Да их подружка залетела, - ухмыльнулся Данил, - вот они и лезут к нам. Тоже, наверное, хотят.

- Какой же ты debil! – Настя бросила в него учебник и угодила в плечо.

Данил отбросил учебник обратно, но промахнулся.

- Так, всё! – вмешиваюсь я, - сядьте, пожалуйста. Всё время ругаетесь! Сколько можно. Мне что, родителям звонить?

Они сели. Данил отвернулся и уткнулся в телефон.

- Что случилось? – спрашиваю я.

Они не смотрят на меня.

- Настя! - я подхожу к уже знакомой девчонке.

- А вы что, не знаете? Анька залетела. Она больше не будет ходить. Все знают.

- Какая Анька? – не понимаю я.

- А вы что, её не помните? Она же весь месяц в школу ходила. Ещё вам про союзы рассказывала. А вчера узнала, что беременна. Больше не придёт – уехала к бабке в деревню.

- А! – Данил махнула рукой, - вы её и не помните. Для вас все на одно лицо.

Данил не похож на остальных. Он всегда мрачный, ни на кого не смотрит, сидит один, уткнувшись в телефон. Он пытается хорошо учиться, но у него не получается, поэтому он злится. Иногда мне кажется, что он злится на весь мир. Про него я только знаю, что он, в отличие от многих, из обеспеченной полной семьи, но ему это только мешает – и он злится ещё больше, если кто-то напоминает ему о его родителях и его возможностях.

Я помню, как он буквально взорвался, когда я сказала, что ему можно не учиться, что любой платный колледж с радостью его возьмёт. Он тогда скинул учебник с парты и сказал, что больше ничего делать не будет.

- Выйди из класса! – сказала тогда я.

Это всегда была крайняя мера, на которую яшла. Выгонять никого из класса нельзя. Но я выгоняю, когда становится совсем трудно с ними сладить.

- Я никуда не пойду. Вы должны меня учить, вот и учите.

- Тогда пиши.

- А это уже моё дело.

- Тогда я имею право поставить тебе «два».

- Ставьте. Мне всё равно.

Но я знала, что как раз ему не всё равно. И с такими намного тяжелее.

Сейчас я с трудом вспоминала девочку, которую спрашивала про союзы и которая сказала, что знает союз «и», «но», а больше не помнит.

– Я помню Аню, - соврала я. – Но это её дело. Не надо никого обсуждать.

- А нам что, тоже так можно? – Настя почему-то спрашивала об этом меня.

- А вы хотите? – крикнули парни и опять засмеялись.

- Да заткнитесь вы уже, - сказал Андрей.

Все тут же замолчали. Он всегда говорил спокойно, но его они слушались.

В классе стояла тишина. Наверное, первый раз за всё время. Они задумались.

Пока они думали, я рассказала им про простые предложения и знаки препинания при сочинительных союзах. Они даже что-то писали, машинально механически записывая за мной с доски. Но думали явно о своём.

Я тоже думала. О том, как я сейчас завидую этой девочке. Этой Ане, которая скоро будет сидеть дома со своим ребёнком и больше не придёт в эту школу. Не знаю, кто из нас больше счастлив. Иногда мне кажется, что всё, что я делала здесь эту неделю, было лишено хоть какого-то смысла и радости. Наверное, поэтому молодые учителя так часто уходят после первой недели, месяца или года. В каждом деле должна быть или радость, или смысл. Здесь же – не было ни того, ни другого. Работать здесь – всё равно, что работать на автомобильном заводе. Закручивать и закручивать свои гайки. Каждый день, всю жизнь. Сейчас, когда я также механически пишу на доске, я с ужасом думаю о том, что останусь здесь навсегда и никогда никуда не уйду. Так может эта Аня сделала правильно – сбежала отсюда, разорвав этот бесконечный бессмысленный и никому не нужный бег по кругу.

На перемене Ярослав приносит мне мел – целую охапку.

- Не обижайтесь, но я ненавижу девушек, - говорит он. А потом, подумав чуть, прибавляет, - вы - только исключение. Но вы не считаетесь, вы же учитель.

- А Настю тоже ненавидишь? – спрашиваю я.

- Настю... - он отвечает не сразу, - мы типа встречались. Но мне она тоже не нужна. Если что – передайте ей это.

- А с кем встречалась эта Аня? – спрашиваю я и не верю, что говорю об этом с этим светловолосым незнакомым парнем.

- Не знаю. Она такая тихая была. Всё время молчала. По-моему, она любила Даню. Но это точно не он.

Я беру мел.

- А что у меня за работу? – спрашивает Ярослав и кивает на стопку листочков.

- А что ты написал?

- Я написал, чтобы вы не ставили «два».

- Тогда не поставлю, - шучу я.

- Спасибо! – верит мне он.

Опять улыбается. Я не перестаю удивляться, как быстро меняется у них настроение, словно каждый новый час – это новый жизненный цикл. Может, так оно и есть.

...

После шестого урока, который свёлся в итоге к тому, что девочки обсуждали Аню, а мальчики играли в карты, остаётся одна девчонка. Она высокая, с длинными вьющимися светлыми волосами и серыми глазами. Я вопросительно смотрю на неё.

- Вы хорошо объясняете, - говорит она. Я чуть было не ухмыльнулась, совсем как Андрей, но вовремя одёрнулась. - Можно я приду после уроков? Я не всё поняла.

- Приходи.

О ней я ещё ничего не знаю.

...

По пятницам в три часа дня у нас учительское совещание. Все собираются в просторном кабинете биологии на втором этаже. Приходит директор, три завуча – примерно одного возраста, женщины. Завуч по начальной школе, завуч по средней и по старшей.

Я сажусь с кипой тетрадей на последнюю парту. Говорят долго – час, может, полтора. Успеваемость, календарно-тематические планы, мероприятия на сентябрь, неделя каких-то наук, дежурство на переменах, классное руководство. Что-то надо сдать срочно, что-то сделать сегодня, заполнить формуляры, расписаться в договоре, принести копию паспорта и диплома – это, кажется, мне. Сделать, написать, провести, принести, сдать... И я чувствую себя учеником, на которого враз навалились все уроки.

Через два часа я, ничего не запомнив и не поняв, иду к своему кабинету. У кабинета стоит та девчонка. Ждёт. Я вдруг думаю – может, не зря всё? Интересно, может ли один ученик, наученный мною, выполнить мой педагогический план? Надо спросить на следующем совещании в пятницу.

Мы заходим в класс.

- Знаете, - говорит она, - я передумала. Не хочу ничего учить. Вы пойдёте домой? Можно проводить вас?

Я киваю, и мы выходим вместе из надоевшей нам за день школы.

- Как тебя зовут? – спрашиваю я.

- Вика. Я пришла в этом году.

- Я тоже.

- Вам нравится здесь?

- Не очень. А тебе?

- И мне.

Улыбаемся друг другу.

Вика рассказывает, что приехала из маленького города.

- У нас невозможно выйти из дома, чтобы кого-нибудь не встретить, - говорит она, - меня это всегда так раздражало. Нельзя никуда скрыться, где бы тебя не увидели. У нас недалеко от города есть бывшая военная часть,

закрытый военный городок – я туда иногда ездила, чтобы только побыть одна. Но даже там я встречала одноклассников.

- Почему же ты приехала сюда? Из-за отца?

- Да. Ну и из-за мамы. Вообще, не знаю. Наверное, не только. Понимаете, у нас там не особо-то разживёшься. Работы почти нет, зарплаты в среднем тысяч десять – и то, считай, повезло. Москва в сравнении с этим кажется золотой.

- Но здесь тоже сложно.

- Сложно. Но... Здесь всё равно есть выбор. Можно работать больше и больше. Можно на двух, на трёх работах. А там... Понимаете, когда есть только почта и магазины, особо не зарабатываешь.

Меня удивляет – она так серьёзно рассуждает, точно сама через всё это уже прошла, хотя не проработала, наверное, ни одного дня в своей маленькой жизни.

- Получается, ни там, ни здесь ты не счастлива? – спрашиваю.

- Я была счастлива в Майском. Это наша деревня. Моя бабушка там родилась. Она и сейчас там живёт. Она вообще нигде больше не жила, кроме Балашова и Майского, и была вполне довольна. Мы туда каждые выходные раньше ездили, кроме зимы. Знаете, туда ходит только один автобус два раза в день – утром и вечером. Он едет по такой разбитой дороге, что все в салоне подпрыгивают, и кажется, вот-вот вылетишь в окно. Но зато, когда доедешь, такая красота! Лес и поле. Как на картинах, даже лучше. Там и школа есть. Я просила остаться, но никто не захотел. Они думают, что в сельской школе плохо научат, но это же не так?

- Нет. Мне кажется, там даже лучше.

- Но только до школы ездить надо было, а зимой автобус не пройдёт – дорогу обычно заваливает снегом. Так что не получилось там остаться. И там только девять классов – а потом всё равно надо ехать в Балашов или в Саратов.

- А в Саратов ты не хочешь?

- А что там? Так же, как здесь. Лучше уж в Москве. Хотите я вам напишу, как доехать до Майского? Вдруг летом некуда будет поехать?

Мы садимся вместе на качели во дворе её дома, она достаёт из рюкзака тетрадку, вырывает листок и зачем-то пишет мне адрес своей деревни и номер их одного-единственного автобуса. А потом даёт листок мне. Я убираю его в сумку.

- Хорошо, - говорю, - может, и приеду.

Под ногами лежит уже вялая листва, перемешанная с грязью и дождём, и всё говорит о том, что до следующего лета теперь далеко.

- А вы где бы хотели жить? – вдруг спрашивает Вика.

На какое-то время я задумываюсь.

- Я не знаю, - наконец, говорю я, - в детстве мне было хорошо здесь, но детство прошло.

- Давно?

- Нет. Всего пару лет назад. Наверное, с того момента, как родители развелись, и мы разменяли квартиру. Это было, кажется, совсем недавно, на третьем курсе.

- А почему они развелись? – теперь спрашивает она, а я, как ученица, отвечаю на её вопросы.

- Отец пил иногда. Наверное, маме это надоело.

- Всегда во всём виноваты отцы, - говорит Вика.

- Нет, не всегда. Мне кажется, виноваты оба. Или никто.

- А сейчас вы здесь несчастливы? И нет такого места, где бы были? Вряд ли на работе...

- Да, вряд ли, - я улыбаюсь, - вот здесь, на этих качелях, счастлива.

- А в Германии? Вы же там летом были...

- Откуда ты знаешь?

- Все знают.

- Ничего здесь не утаишь, прямо как в твоём Балашове. – Мы смеёмся. - Не знаю, насчёт Германии. – Говорю уже серьёзно. – Все меня спрашивали, зачем я вернулась. Вильфрид, мама, даже таксист. Иногда кажется, что да, там хорошо, особенно летом. А иногда думаешь, что всё вокруг чужое, никто не говорит по-русски, и так тоскливо становится. Я там встретила русского эмигранта, хозяина небольшого книжного магазина. Он долго слушал, как я читала вслух на русском учебник по высшей математике, единственную русскую книгу, которую я там нашла. Даже не знаю, как она туда попала... Наверное, оставил кто-то. Я не понимала ни слова из того, что читаю, но мне хотелось прочитать хоть что-то на русском. Тогда он заговорил со мной.

- И как, хорошо ему там?

- Не очень. Здесь он работал научным сотрудником.

Вика ловко спрыгивает с качелей. Ей уже пора домой. Я смотрю на часы - семь часов. На этот раз я провожаю её до подъезда.

- Я ещё приду? – спрашивает, как будто я собираюсь куда-то исчезать.

Я киваю, и она забегает в подъезд, и через минуту в комнате на втором этаже уже загорается свет.

...

С Вильфридом мы познакомились в Фейсбуке. Я искала кого-нибудь, с кем можно говорить по-немецки, а он кого-нибудь, с кем можно говорить по-русски. Он учил к тому времени русский уже несколько лет, но учил урывками, поэтому знал его плохо. Я же учила немецкий с детства – мама занималась со мной, хотя уже не была учителем.

Вильфрид очень хочет побывать в России. Его родители в своей юности ездили в Россию один раз, поэтому и Вильфрид мечтает пожить здесь.

- Но у нас уже давно не СССР, - говорила ему я, - твои родители помнят всё совсем по-другому.

- И у нас тоже уже не ГДР, но я всё равно люблю Германию. И Россию тоже люблю.

Вильфрид родился на территории ГДР, как и я на территории Советского Союза, может быть, поэтому нам так легко иногда понимать друг друга.

Вильфрид говорил, что даже сейчас в Германии сохраняется большая разница между теми, кто родился в ФРГ и теми, кто родился в ГДР. Он говорил, что ему сложнее было устроиться на работу, а у его родителей меньше пенсия. Я не знаю, так это или нет, но сам Вильфрид выглядит и живёт гораздо скромнее, чем многие немцы с «запада», как про них говорят. Это разделение на восток и запад осталось у них до сих пор.

Он показывал фотографию своих родителей у мавзолея – и я бы не отличила их от обычной советской семьи. Но всё-таки Германия – это Германия. Я не могла согласиться с Вильфридом, когда он говорил, что работать учителем можно где угодно. Тем более, где угодно можно писать книги. Я так не думаю.

2

Мама дома с самого утра. Отца нет. Он уехал, как только привёз Вику. Отоспался день, сделал несколько фотографий с дочерью у дома на свой телефон – и всё. Потом прислал смс – «матери скажешь, уехал под Самару. На обратном пути отзвонюсь». Она стёрла, не дочитав.

Мама с утра злится на всё. Всё не так – и Вика чувствует себя виноватой. Она здесь всего неделю - и ещё не привыкла. Мама, кажется, ещё дальше от неё, чем была. Вике неловко оставаться с ней наедине – словно с чужим человеком. Она изменилась за год. Постарела. Стала хуже выглядеть. Хуже одеваться. Почти перестала краситься. Почти не следит за домом, словно не считает его своим. Они почти и не разговаривали эту неделю. Только нашли школу, сделали регистрацию. Всё. Иногда мама спрашивает – не писал ли отец? И тогда Вика врёт, что писал, что он на рейсе и скоро приедет. Она уже поняла, что лучше соврать, иначе они поссорятся. Впрочем, мама не верит, и только делает вид, что верит – и они ссорятся. Чтобы Вика ни сделала, они ссорятся.

Мама моет посуду. Нож выскальзывает из мыльных рук, падает на пол. Вика поднимает его.

- Может, он приедет сегодня? – говорит она и бросает нож обратно в раковину.

- А самой помыть нельзя? - мама не оборачивается и швыряет нож на стол.
- Не звонил?

Вика молча идёт споласкивать нож в ванну. Скажет – звонил – не поверит. Скажет – не звонил – начнёт орать.

- Нет, - говорит Вика и включает воду.

- А обязательно воду перекрывать? – кричит мама сквозь шум. – У меня теперь холодная идёт.

Вика закрывает кран и садится на край ванны.

Здесь, в коммуналке, живут ещё две семьи. Тоже снимают. Семья Надежды Ивановны и Мирославы. Всего восемь человек.

Надежда Ивановна приехала недавно из Узбекистана. Из города со странным названием – Нукус. Приехала сидеть с внуком – Вадимом, которому пять лет. Приготовить, отвезти в детский сад, погулять. Она очень нервная, часто кричит на него, а он в неё кидается игрушками. Раз в неделю – обязательно скандал. Но Вике она нравится. Надежда Ивановна кормит всех своими национальными пирожками, поэтому Вика называет её Бабуля, хотя она намного моложе настоящей Викиной бабушки. Но здесь она для всех стала бабулей.

С ней живёт сноха Ирина – мама Вадима. Вика видит её редко. Только по утрам. Лохматую и сонную. И вечерами, когда она стучит к Вике в ванную и говорит: «Давай уже быстрее, вставать рано». Её муж, сын Бабули, остался там – в Узбекистане. По их скупым рассказам, он взял у кого-то в долг, а расплатиться не смог. Заработать на родине большие деньги невозможно, поэтому его жена и мать здесь. Зарабатывают, чтобы отдать долги. А он - там. Ему оттуда с этими долгами не уехать. Вадим мечтает уехать к отцу. Он всё время про него спрашивает и плачет, если Ирина со зла накричит на него и скажет, что они не вернутся и что отца он больше не увидит. О чём мечтает Бабуля и сама Ирина Вика не знает – об этом они не говорят. О мечтах здесь как-то не принято спрашивать.

Они русские, только фамилия узбекская. Сама Ира родилась в Узбекистане – и жила бы там до сих пор, если бы не эти долги. В Москве ей не нравится, поэтому она не разговорчивая, и на общей кухне почти не появляется.

Другая семья – семья Мирославы. Ей сорок пять лет, как и отцу Вике. Когда-то давно она приехала из Будёновска учиться в институте. Поступила в МГУ на химфак, затем работала младшим научным сотрудником до самого закрытия института в 90-е годы. Потом уехала к себе в Будёновск. Но в 1996 году вернулась в Москву. Как рассказывал Вике отец, Будёновск в 1995 году был захвачен чеченскими боевиками. Было много пострадавших. Мирославе повезло, но она всё равно не смогла больше там жить. Хотела перевезти мать, но та отказалась. «В Москве страшней, - говорила она, - а у нас дважды в одну воронку не попадают».

Мирослава не очень любит вспоминать об этом. Несколько раз Вика спрашивала, что там было.

- Да ничего не было, - отвечала она, - постреляли немного и ушли.

Вика не очень верит, но не лезет. У Мирославы есть дочь, но нет мужа. Вика тоже не лезет – не спрашивает. Дочь Мирославы в пятом классе, и Вика часто с ней смотрит телевизор и ролики в Интернете.

Вика живёт в одной маленькой комнате с родителями. Вот она – Москва. Вика часто ловит себя на мысли, что не так представляла себе город, когда ехала сюда с отцом.

...

Сегодня никого нет, в трёхкомнатной квартире тихо и светло.

На плите кипит чайник, но мама нарочно не выключает его. Ждёт, пока Вика выключит.

Вика смотрится в зеркало в ванной. Оно появилось недавно – с отцом купили на рынке рядом. Маленькое, круглое, чуть больше ладони. С ним стало уютнее и спокойнее. Вике нравится смотреть на своё лицо. Оно постепенно становится каким-то другим. Меняется.

Чайник кипит долго и громко, кажется, его слышно из открытых окон. Наконец, мама выключает газ.

- Здесь всегда так? – спрашивает Вика

- Как – так?

- Шумно.

- А ты что хотела? Это же Москва. Ты так и будешь сидеть здесь и ничего не делать?

- А что же мне делать?

- Тебе в школу завтра. Готовься.

- Нам ничего не задали.

Ещё недавно стояла страшная жара. Вика выходит на улицу и оборачивается на свои окна.

Вике принадлежит два окна. Одно – большое – на кухне. Оно выходит на главную дорогу. С машинами и магазинами. Другое – маленькое – в комнате. Оно выходит во двор, где почти ничего нет. Сейчас в окне темно, только горит синим монитор компьютера. Значит, мама там.

Улица, где живёт Вика, разделена дорогой на две части. Точно так же, как родной Балашов разделён на две части рекой.

Одна сторона – чётная, и все дома там двухэтажные, в основном, старые обшарпанные коммуналки, комнаты в которых сдаются всем подряд. Между домами детский сад и площадка с одними-единственными качелями. Между деревьями на верёвках развешано бельё. Соседи сторожат его по очереди. Выносят стульчики, сидят по двое, болтают о какой-нибудь чепухе или просто долго молчат, пока кто-нибудь не посмотрит на часы и не скажет, что пора меняться. Вику это сразу удивило – кому захочется воровать чьё-то мокрое бельё? Даже в Балашове так не делают.

Викин дом такой же маленький, в два этажа. На крышу можно было бы влезть по водосточной трубе – настолько невысоко.

Другая сторона - та, куда выходит кухонное окно. Там совсем другие дома. Высокие и красивые, с консьержками, которые никого не пускают, с грузовыми лифтами. На крышу не забраться по трубе. Вика никогда не видела такие дома. Наверное, именно о них говорил отец.

У неё есть ключ от двери домофона в такой дом. Она нашла его случайно у магазина. Вика иногда заходит туда, чтобы подняться на последний этаж и выйти на балкон.

Наверху ещё жарче. Пахнет раскалённым бетоном, пылью, окурками. Но ей здесь нравится. Сверху можно увидеть весь район. Справа – её дом, окно, из которого она часто смотрит сюда. Сразу за ним – её новая школа. Серая, с решётками на окнах. Рядом со школой – церковь.

В своём городе Вика часто забиралась на крыши. Не на такие высокие, конечно. Любила сидеть там до заката, пока не начнут разыскивать – и Вика не станет представлять, как бабушка садится в комнате под лампу, надевает большие очки, достаёт записную книжку и набирает её номер. Ошибается, не попадает в нужные кнопки, но всё равно набирает. Снова и снова. И, наконец, звонит. Тогда Вика бежит вниз по лестнице, задерживая дыхание, чтобы быстрее, но всё равно опаздывает. Бабушка долго отчитывает её, грея ужин.

Сейчас Вику вряд ли кто-то будет отчитывать. Мама кинет смс – «Быстро домой». Но всё равно не заметит, во сколько та пришла.

- Какая взрослая, - сказала соседка, когда увидела Вику.

Да, взрослая, значит, можно не звонить.

От высоты и солнца кружится голова. Чтобы не упасть, Вика садится прямо на грязный пол.

...

Дойти до школы – это перебежать через дорогу.

С утра начался страшный ливень. Вика думала, что размочит дорогу, а она надела новые чёрные туфли и мамины капроновые колготки. На них тут же появились пятна от дождя. Зонта нет, и Вика приходит вся мокрая, а молодой охранник смеётся.

- Иди в класс, - говорит он.

Вика ещё не знает куда. Садится на скамейку на первом этаже, снимает туфли, отряхивает их, размазывает грязь по колготкам и думает о том, как же можно в таком виде появиться в классе, где наверняка все очень красивые.

- Ты же в 8 «А»? Пойдём! – говорит ей девчонка лет восемнадцати. И только по серьёзному её виду Вика понимает, что это – учитель. Её учитель.

В классе никто никого не слушает, все галдят, смеются. Вика сидит у окна и смотрит на нового учителя. Учитель как учитель. Ничего особенного. Но

Вика смотрит, не отрываясь. Она кажется другой – не такой, как все остальные в этой школе. Точно она из другого города или даже страны. Невысокая, худая, с короткими светлыми волосами, в джинсах, рубашке и пиджаке. Меньше всего она похожа на учителя, скорее на мальчика, который вышел отвечать к доске.

Звонок. Все выходят. Выбегают. Толкают друг друга у выхода. На улице уже сухо.

«Как быстро просохло», - думает.

...

Вика не была в школе уже неделю. И сегодня тоже. Она знает, что могут позвонить маме, но она также знает, что никто не дозвонится, потому что она дала свой номер вместо её.

Вика включает музыку на ноутбуке. Делает тише, потому что соседка – Мирослава - ещё не ушла. В квартире тихо – значит, она сидит на кухне, пьёт чай из своей большой кружки. Она всегда завтракает и собирается утром в полной тишине. Говорит – привыкла жить так, чтобы никому не мешать. Пятнадцать лет по общежитиям и коммуналкам...

Шорохи в коридоре – надевает плащ. Обувается. Положила щёточку для обуви на полку. Звенят ключи. Она никогда не забывает ключей. Хлопает дверью.

Вика включает свет и встаёт.

У неё в комнате зеркало во весь шкаф. Она смотрит в него. В папиной большой футболке она выглядит совсем маленькой. Снимает её. Вика очень изменилась за год. Она ненавидит своё тело. Не может привыкнуть, что оно теперь такое. Всматривается в своё лицо. Серые большие глаза. Нос с горбинкой. Проводит пальцами по своему отражению. Ещё детские щёки, но так быстро всё меняется. Она кладёт руку с растопыренными пальцами на зеркало, словно на ровную гладь реки. Холодно. Хочется разрушить его, чтобы пошли волны, как от резкого ветра. Уже теплее - стекло нагревается. Убирает руку. Всё те же серые глаза и тот же нос. Ей кажется, что однажды она проснётся и не узнает себя. Всё изменится. Станет совершенно другим. Её лицо, тело. Всё это страшно, непонятно.

Одевается.

На кухне никого. Чашка помыта и убрана. На этой кухне никто не оставляет грязных чашек.

У себя в городе Вика определяла, дома ли бабушка, по невымытой чашке. Она пила всегда из одной и той же и оставляла её на столе. Мыла только, если уходила куда-то надолго. Если чашка стояла невымытая – значит, бабушка дома и никуда не уйдёт. Вике от этого всегда становилось спокойно.

Во дворе много листьев. Их не успевают убирать – они падают снова. Жёлтые, зелёные, разные. Если выйти рано утром – можно ходить по ним босиком, пока они ещё влажные. Как в деревне, когда приезжаешь туда в начале осени. Бабушка тогда обычно закатывала банки со всякими вкусностями, которые не разрешала трогать до зимы. А Вика не понимала, почему всё это нельзя трогать до зимы, когда очень хочется.

На качелях качается ребёнок. На лавочке сидит женщина, следит за ним, курит.

- Осторожнее, не прыгай так, я же просила.

А он всё равно прыгает. Он забирается на качели, раскачивается, как может – и прыгает. Опять забирается, опять раскачивается – прыгает. Снова и снова.

- Ещё раз прыгнешь – уйдёшь отсюда.

Он сидит теперь на качелях спокойно, только слегка болтая ногами.

Этот город можно обойти быстрее, чем Балашов.

Пятнадцать минут на маршрутке до метро. Двадцать - пешком до парка. Двадцать пять – до стадиона. Пять минут бегом до церкви, в которой Вика ещё не была. Семь - до школы. Всё.

Вика идёт до школы. Доходит до светофора, нажимает кнопку, чтобы загорелся зелёный. Ждёт. Вдруг слышит рядом:

- Что-то тебя давно не видно.

Оборачивается и видит ту новенькую – учительницу, их классную.

- Я болела, - врёт Вика.

Зелёный. Они вместе переходят дорогу, но идут не к школе, а в противоположную от неё сторону.

- Где ты живёшь? – спрашивает классная.

Вика показывает куда-то вдаль, там, где теперь её дом.

- Ну пойдём.

Они идут рядом, почти касаясь друг друга руками. У классной чёрное длинное пальто, слишком тёплое для осени, и коричневая сумка через плечо.

- Я соврала, - говорит Вика, - я не болела. Только не звоните маме.

- Не буду. Ты не хочешь ходить в эту школу?

- Не хочу. Там орут все, никого не слушают, и ничего не понятно.

- А чего бы тебе хотелось?

- Иногда хочется просто помолчать.

- Понимаю.

- Знаете, мне не нужно сейчас домой. Давайте пройдемся.

И они идут рядом. Прошли школу и Викин дом, дошли до метро. А дальше идти некуда. Дальше – уже Москва.

Зима

1

Первая и вторая четверть здесь закончилась провалом. Я смогла только выяснить, как зовут моих учеников, но всё равно не запомнила, спросить, какие книги они прочитали за лето, но не получить ответа и с ужасом выставить им оценки. Это всё. Уроки сменяли друг друга, ученики сменяли друг друга, и мне казалось, что и я стала другой за эти несколько месяцев.

В 8 «А», про который все говорили «неуправляемый», «неадекватный», «сложный», «ненормальный» и «коррекционный» класс, училось шесть девочек и четырнадцать мальчиков. Как я уже поняла, в этом классе было три тихони, один явный лидер, один негласный лидер, один забитый и всеми унижаемый, несколько тех, кто жил своей жизнью отдельно от класса и несколько тех, кого невозможно было успокоить и просто усадить на место.

Но все они абсолютно разные, у всех своё мнение, и к каждому из них, как я поняла, нужен особенный подход, на который у меня нет никаких сил. Сейчас я с ужасом думаю о том, что мне придётся в следующей четверти опять прийти сюда и пытаться вести у них уроки. Третья четверть – третья попытка.

Больше всего на свете мне хотелось просто развернуться и уйти. Но вместо этого я решила организовать родительское собрание.

...

В семь часов в школе уже никого нет, кроме охранника, который не уходит домой, а спит тут же – в маленькой подсобке на первом этаже. Он заглядывает ко мне в кабинет, предлагает покурить с ним в его коморке. Я соглашаюсь.

Он здесь тоже недавно.

- Это не школа, а дурдом. – Говорит он. - Я обалдеваю от этих детей. Приходят, когда хотят. Уходят, когда хотят. Могут прийти к третьему, уйти после пятого. - Он достаёт пепельницу – маленькую банку из-под кофе, всю полную окурков. – Первый раз такое вижу.

- А ты сам хорошо учился? – спрашиваю я.

- Нет, но такого не было. Все боялись как-то. Уроки не сделаешь – боишься. Прогуляешь – боишься. А сейчас ничего не боятся.

Он сам не отсюда. Приехал из Башкирии сразу после армии. Устроился в школу полиции, потом пошёл в охрану.

- У отца была пасека, когда я ещё мелкий был. – Рассказывает мне он. - Научил меня кое-чему. Помню, отца пчёлы вообще не кусали. Он к ним пьяный лез в самый улей – они даже не жужжат. Так, начнут немного, покружат – и обратно. Любили его. А меня как-то пять штук укусили. Прямо в лицо. Неделю ходил весь вздутый.

- А родители живы?

- Мать жива. Живёт одна там. Ты сама-то как здесь оказалась?

- Да мимо шла.

- Понятно. Ты, говорят, в Германии была?

- Да. Летом.

- И как там?

- Хорошо.

- А чего вернулась?

Я пожимаю плечами.

Наливает чай. Себе – совсем густой.

- В армии привык к крепкому чаю. Пили его утром вместо кофе, одну заварку наливаешь без сахара. Сердце потом так бьётся, что сутки не спишь.

Я пью его чай. Он горький, как чёрный шоколад, и такого же цвета. Он заваривает его в железной кружке – и в чашку попадают чайники. Я достаю их руками и складываю в пепельницу. Она ещё дымится, словно в неё тоже налит кипяток. Он заливает её своим чаем, и дым уходит.

Он подвигается ко мне ближе, но я отодвигаюсь от него.

- Есть кто-то? – спрашивает он.

- Есть, - говорю я, вспоминая Вильфрида.

- Серьёзно всё?

- Не знаю. Наверное.

Он больше ничего не говорит. Мы докуриваем молча.

...

К семи часам начинают приходить родители.

В коридорах тишина, какой никогда не бывает днём. Первую неделю здесь я думала, что не смогу привыкнуть к этому постоянному шуму, что сойду с ума. Я читала, что в американских тюрьмах применяли такую пытку – заставляли человека слушать сразу много очень громких звуков. Я чувствовала себя заключённым в такой тюрьме. Все вокруг орут – и на переменах, и на уроках. Мне казалось, что дети вообще не умеют говорить тихо, что они только орут или визжат. С самого утра и до обеда, пока не закончится последний урок, меня преследовал этот шум.

Но сейчас, вечером, тихо и спокойно. Работа уже не кажется такой жуткой.

Родители не заходят по одному. Они стоят внизу, пока не соберутся группой, и только потом поднимаются ко мне в кабинет. Мне интересно – почему? Боятся?

Одна из них – полная, невысокая, с отёкшими толстыми ногами в огромных, точно мужских, растоптанных ботинках украдкой заглядывает ко мне.

- Можно?

Я сижу на своём месте, за столом, заваленном листочками, обрывками бумажек, учебниками, тетрадями. Киваю ей. И они все заходят.

Садятся, как и их дети, подальше от меня – на третьи и четвёртые парты. Только, в отличие от них, садятся молча и смотрят на меня. Я открываю журнал, достаю тетради, точно хочу спрятаться за всё это.

- Ну, - начинаю не я, а та, полная, которая зашла первая, - мы готовы. Слушаем вас.

Я встаю и чувствую себя на допросе. Это они меня спрашивают, а не я их, хотя это я учу их детей, точнее пытаюсь это делать.

- Я здесь недавно, - хочу сказать я, - но уже увидела многое. Во-первых, не все из ваших детей ходят в школу каждый день. Во-вторых, если и приходят, они ничего не пишут и не делают. У них нет дневников, тетрадей и ручек. Я всё время даю им листочки, из которых они в конце урока делают самолётики. Они не обращают внимания на звонки, приходят и уходят, когда хотят. Их волнуют только талоны на обед, которые я им даю. Иногда мне кажется, что они приходят сюда только из-за этих талонов. Они постоянно дерутся и курят в туалете. Когда они приходят в класс, запах не выветривается весь урок. Они совершенно меня не слушают и, чтобы я не говорила, они делают то, что хотят. Они не выучили ещё ни одной темы и вряд ли знают, что мы проходим. Я не знаю, каким чудом они получают оценки, но пока я не могу даже сделать переключку, чтобы не начать кого-то успокаивать, выгонять из класса или пытаться с боем забрать дневник, которого всё равно в итоге не оказывается в их сумке. Я не знаю, что я могу сделать, чтобы просто выполнить свою работу.

Но я смотрю на этих родителей и ничего не говорю. Они всё это слышали много раз от тех двух, которые были до меня.

На меня смотрят мои же ученики, только старше. Вот – мама, у которой, кроме её дочки из моего класса, ещё четверо. А муж их бросил и живёт рядом с другой женщиной. Они видятся в магазине каждый день.

Вот – папа, который недавно освободился из колонии, где отсидел семь лет. Летом он красил здесь классы, и только поэтому его сына оставили учиться.

Дальше – мама Насти, которая два раза была замужем, но оба раза неудачно, она ярко покрашена, но это её только портит.

А за ней мама Ярослава. Они с сыном живут в общежитии, в одной комнате, отгородившись друг от друга тонкой фанерой, и всё время ругаются.

Мама Данила – молодая, такая же мрачная женщина, смотрит, как и её сын, исподлобья, не верит, что я могу чему-то научить их всех. Я и сама не верю.

- Мы знаем, у нас сложный класс, - говорят опять родители, а не я. - Нам бы только дотянуть до девятого. У нас и так уже столько учителей поменялось.

Я так и сижу со своим журналом, даже его не открыв.

Их родители старше меня в два раза. У многих из них есть вторые или третьи дети, которые тоже скоро пойдут в эту школу. У их родителей нет высшего образования, у некоторых нет даже среднего специального. У них усталые помятые прокуренные лица. Они смотрят на меня так, словно именно от меня сейчас зависит, окончат их дети школу или нет.

- Но надо же что-то делать, - говорю я.

- Вы же учитель. Уж доучите. Без вас мы как?

Мы выходим вместе. Я киваю охраннику, и он закрывает за нами.

На крыльце школы закуриваем.

- Знаете, - говорят мне, - если вы не уйдёте, они к вам потянутся. Надо просто время.

- Но времени как раз нет, - говорю я, - ни у меня, ни у них. Им через год сдавать экзамены, а они не знают, что такое предложение. Если так дальше пойдёт, и не узнают.

Я вспоминаю свои плакаты, на которых кто-то уже зачеркнул «здравствуй, школа» и написал - «ненавижу тебя, школа». Плакат висел долго, пока кто-то из учителей не зашёл и не заметил.

...

Вильфрид звонит каждый день. Говорит, что хочет продать дом и переехать.

Я помню дом Вильфрида. Он небольшой, не такой, какие обычно показывают в фильмах. Когда я ехала к нему - я представляла себе его дом огромным, в несколько этажей, со множеством комнат. И на каждом этаже ванна. А внизу – огромная гостиная с кожаными диванами и стеклянной дверью во двор. Такая американская мечта.

Но Вильфрид не может позволить себе такой дом. Он получает всего три тысячи евро. Да и не принято у них это – в маленьком городе Тале. Дом Вильфрида скромный - в два этажа. На первом – ванна, кухня и гостиная. Но без кожаных диванов. А на втором – три небольшие спальни. В одной из них есть ход на крышу. Окно прямо в потолке. Можно открыть – и вылезти.

- Зачем это? - спрашивала я.

- Это я сам сделал. Можно смотреть вверх, на небо.

- А если заберутся? Оно же стеклянное.

- Никто не заберётся. Здесь не опасно, - он откинул щеколду и открыл окно. И правда – можно было увидеть всё небо с множеством звёзд. Они здесь очень низкие – может быть, из-за близости гор.

Вильфрид делал в этом доме всё сам. Купил голые стены.

- Но это же твой дом. Ты столько вложил в него. Куда ты хочешь уехать?

- В Хасте. Там есть работа.

Вильфрид врач. Терапевт, как бы сказали у нас.

- Хасте похож на Тале?

- Нет. Совсем другой.

- Мне кажется, все немецкие города похожи.

Маленькие. Чистые. В семь вечера – тишина. На улицах – никого. Темно. Но если подойти к фонарю – загорится свет. Утром в кафе пенсионеры пьют пиво и едят сосиски с белыми булочками. Мы ходили туда с Вильфридом. Тоже пили пиво и ели сосиски.

- Но это не немцы, - говорил Вильфрид. – Это туристы. Немцы не ходят в кафе. Это дорого.

- Для немцев дорого?

Мне почему-то всегда казалось, что для немцев не может быть что-то слишком дорого.

- За три евро можно купить много сосисок и много пива. Сделать дома на гриле. В кафе никто не пойдёт. Это неэкономно.

Все немецкие города похожи. Я ему говорила это сотни раз. А он смеялся и шутил – это ваши города похожи. Ленинград, Сталинград, Волгоград...

- Сталинграда уже нет, - говорила я, - и Ленинграда тоже.

И немцы похожи. Получают каждый месяц кучу денег, а экономят на всём. Воду в бутылочках не покупают – наливают из-под крана. В супермаркетах покупают оптом. Ходить каждый день в магазин – не выгодно. Помню, Вильфрид злился, если я покупала одно мороженое. Он говорил – «если хочешь мороженое, скажи, я куплю сразу много. Покупать одно – невыгодно». Пиво покупают ящиками и хранят в подвале. Но это не жадность. Это – экономность.

- Вы, русские, не умеете считать деньги, - говорил Вильфрид, - если бы вы были бережливы, как мы, вы бы жили лучше.

- Нам нечего беречь, Вильфрид. Мы не можем купить с зарплаты столько всего, чтобы хватило на месяц, и ещё осталось денег. Мы не экономим, мы выкручиваемся.

Он не понимал. А я его понимала, но это всё меня ужасно раздражало.

...

Не сплю всю ночь. Полночи лазаю по педагогическим форумам. Советуют одно и то же – детей надо удивить, привлечь внимание, сделать что-то неожиданное.

Нашла целую памятку учителю:

1. Подходи к детям с оптимизмом.
2. Вспоминай себя в детстве.
3. Будь с ними честным.
4. Никогда не кричи на них.
5. Не сердись.
6. Будь вежлив.
7. Не приказывай.
8. Оберегай их от дурного.
9. Будь с ними вместе.

Ничего из этой памятки я не соблюдаю.

Вообще, почти все, с кем сталкиваюсь в школьных коридорах, удивляются – зачем я пришла.

- Шла бы в журнал, - говорят.

Помню, сразу после института устраивалась в одно медицинское издательство выпускающим редактором. На собеседовании спрашивали – насколько грамотно пишу, внимательная ли, могу ли запоминать большой объём информации, знаю ли корректорские знаки. И так далее. Дали текст, который надо было отредактировать. Отредактировала. Всё им понравилось.

- А чем конкретно я буду заниматься? – спросила я.

- В основном - читать материалы, подготовленные к изданию.

- Но я же не медик. Я в этом ничего не понимаю.

- И не надо. Просто вычитывай текст.

На второе собеседование я не пошла. Как-то неинтересно.

А сейчас думаю – а здесь, интересно?

...

Сегодня я дежурная по коридору. Два раза в неделю я должна дежурить. В должностной инструкции, которую мы все подписали на очередном педсовете написано – «обязанность каждого дежурного учителя обеспечить тишину и порядок на переменах». На деле же дежурство означает бесконечные замечания, крики на кого-то, ругань, ссоры и плохое настроение на всю

перемену. В дополнение к этому нужно каждые пять минут заходит в туалет для девочек, который расположен на моём этаже, и смотреть, чтобы никто не курил. Так что выполнить свою обязанность просто невозможно.

Перемена – это то время, когда меньше всего хочется видеть и слышать детей. Но это как раз то время, когда дети, освободившиеся от тисков урока, вырываются на свободу, разбегаются по этажам, выясняют отношения, ищут возможности сбежать из школы, выкурить сигарету, стащить обед в столовой и придумать что-нибудь, чтобы не пойти на следующий урок. То время, когда они ходят за мной и, в отличие от урока, здесь я им нужна.

- У меня болит животоот, - девочка из моего класса ходит за мной всю перемену и ноет.

- У тебя он болел вчера, - говорю я и отворачиваюсь от неё.

На педсовете нам было дано распоряжение – «отпускать детей только в строгой необходимости и не более, чем одного в день. А в сложных классах не более чем одного через день».

У меня как раз сложный класс.

- Я же не виновата, что он опять болит. Вчера – это вчера, - она продолжает идти за мной.

- Но я же не могу отпускать тебя каждый день.

- Почему? Вы же учитель!

В её представлении я – учитель, а значит, я могу всё. И самое главное - могу выпустить её из ненавистой школы.

- Нуу, последний раз, - ноет и ноет она, - ну пожааалуйста... Я буду ходить за вами каждую перемену.

- Хорошо, давай листок и ручку.

Как ни странно – листок и ручка тут же находятся, хотя на уроке ни того ни другого никогда нет. Я пишу корявым почерком, положив листок на подоконник – «Прошу отпустить...»

- Напомни свою фамилию.

- Студенцова.

«...Студенцову Серафиму с третьего урока по состоянию здоровья».

Пишу число и подписываюсь. Отдаю ей. Она, счастливая, тут же убегает.

Серафиму все называют просто «Симка». Она из многодетной семьи. У неё два старших брата и три младшие сестры. Самая маленькая сестра в детском саду, и Серафима водит её в сад, а чаще всего сидит с ней дома. Отца у Серафимы нет, точнее есть, но он живёт отдельно, а все дети в семье воспитываются мамой и растут сами по себе, как и Серафима, которая в школу ходит редко, а если и приходит, то на несколько уроков, а потом начинает искать возможности сбежать. То ко мне идёт, то к охраннику, то просто вылезает в окно первого этажа.

У Серафимы короткие, практически белые волосы, она очень маленькая, тоненькая, точно прозрачная и, кажется, переломится от одного только неловкого движения. Но она очень сильная и готова влезть в драку с любыми девочками и даже с парнями, если нужно. Особенно она ненавидит Руслана – тоже из моего класса. Он ходит в школу редко, как и Серафима, но если они приходят оба – драка будет точно.

Один раз они вскочили прямо на уроке. Она на него с учебником, он – со стулом. Только Андрей, который вскочил следом, успокоил их. Тогда я первый раз была ему благодарна.

- В чём дело? – спросила я.

- Ни в чём, - Симка села на место и надулась.

- Скажи, - я подошла к ней.

- Вам какая разница? – она не любила всех учителей, и почему-то особенно меня.

- Скажи! – я стояла над ней, возвышаясь, как судья.

Вмешалась Настя.

- Рустик сказал, что она гуляет со всеми парнями.

- Почему он так сказал? – спросила я.

- Настюх, молчи! – Симка замахнулась на неё.

После уроков Сима сама подошла ко мне и сказала:

- Мне Рустик встречаться предложил, а я не хочу.

- Если не хочешь – не надо, - ответила я.

- Но он теперь будет меня гнобить. Если ему девушка отказывает, он её потом ненавидит.

- Но это не повод с ним встречаться.

- Вы думаете?

- Конечно. Он тебе нравится?

- Нет.

- Тогда, конечно, не надо.

Она стояла около меня и не уходила.

- А у вас так было? Чтобы кто-то вам предлагал, а вы не хотели?

- Ну конечно.

- И что тогда?

- Нужно делать то, что ты хочешь, - сказала я, но как-то неуверенно.

Этот Руслан – Рустик – в школе почти не появлялся. Его мама раньше работала здесь секретарём, но она тоже ходила на работу редко, и её уволили. Говорят, что она сильно пьёт. На собраниях я её ни разу не видела, и на телефон она не отвечает. Больше никого у Руслана нет, поэтому он ходит, когда хочет и делает, что хочет. Но он никогда не унывает, всегда весёлый, жизнерадостный. Иногда я ему даже завидую.

Я вообще начинаю завидовать своим ученикам. Часто мне хочется оказаться на их месте - не быть никому должной, делать только то, что хочется. Но потом я думаю о том, что они сами не знают, чего им хочется и не знают, что им делать и потому так себя ведут.

Обычно мы дежури́м по двое. Моя коллега, та самая Галина Ивановна, тоже учитель русского языка и литературы, работает в другом конце коридора. Это в её кабинете находится лаборантская, где я ещё ни разу не была с тех пор, как взяла плакаты.

Ей лет семьдесят, у неё короткие крашенные в пшеничный цвет волосы, мелкие завитушки, тонкие и ломкие, которые иногда встают в разные стороны, и тогда она похожа на взерошенную испуганную огромную птицу.

Она живёт в однокомнатной квартире с сыном. Сын взрослый, гораздо старше меня, но никак не женится. Учителя за спиной Галины Ивановны говорят – «Ещё бы! С такой мамой!»

Я слышала, как дети называли её «Галина Гитлеровна».

Она работает здесь всего три года, но уже всё про всех знает. Если случайно столкнуться с ней в коридоре, то она обязательно заболтает и начнёт всё про всех рассказывать – детей, учителей, родителей.

- Доработай год и уходи отсюда, - говорит она, - бросай ты этот класс, как я бросила. Там нормальных детей вообще нет.

Я ничего не отвечаю на это, только киваю.

- Это такая помойка. – Продолжает она. - Здесь как был рабочий район, так он им и остался. Откуда здесь взяться нормальным детям? Я в том году одну четверть работала в твоём 8 «А». Это же ужас, а не класс. Тебе очень не повезло, что на тебя его повесили. Но никто бы больше не согласился. А ты молодая, ты будешь молчать, на тебя можно и повесить.

На это я тоже молчу. Я и так уже поняла, что на меня сбросили то, что никто не хотел брать. И мой 8 «А» оказался никому здесь не нужным, лишним.

...

Закуриваю прямо у дверей школы.

Темнеет уже рано. Вспоминается лето. Как резко и страшно темнело в горах, в Гарце, куда поднимались с Вильфридом, как было холодно. Он говорил – «оденься теплее». А я не верила, что где-то сейчас может быть холодно.

Мама сегодня забрала остатки своих вещей. Ящики открыты, шкафы настезь, как после погрома. Стою посреди маленькой квартиры, смотрю вокруг. Пусто. Но ведь сама этого хотела.

На столе на кухне записка – «Пирог хороший. Вчера готовила. Ешь. Вещи забрала все. Звони. Напиши ему (это она о Вильфриде). Он звонил мне, спрашивает, почему ты не отвечаешь. Мама»

Открываю холодильник – пирог на месте. С сыром. Из слоёного теста. Мама сама делает. Отрезаю прямо холодный. Думаю, что она обязательно бы сказала – «погрей».

Варю кофе. Молока нет. Пью так.

2

Отец приехал рано утром, перебудив весь дом. Он привык, как и раньше, ещё когда жили дома, приходя утром с суток, заходить громко и шумно. Вика помнит, как он всегда заваливался к ней в комнату не стуча, стаскивал одеяло и тащил в ванну – умываться. А она была маленькая, не умела отбиваться, плакала и обижалась. Теперь бы он так не сделал.

Он заходит, хлопает дверью.

- Поесть-то найдёшь? – говорит маме.

- Пусть тебя бабы твои кормят, - отвечает она, но встаёт и идёт на кухню.

Стукнула соседская дверь. Значит, ещё кто-то проснулся.

Вика лежит, накрывшись одеялом, хотя давно не спит. Отец ходит по комнате, открывает шкаф, видимо переодевается.

- Ничего не найдёшь, - бормочет он.

- Она туда сложила, - говорит Вика, садится на кровать и показывает на кресло в углу, - твои вещи все там.

- За каким...? – отец находит свою футболку из груды вещей. – Ладно, пойдём.

На кухне уже все. Толкаются и не могут найти себе места. Шумно, жарко.

Мама разогревает вчерашнюю жареную картошку и курицу. Пахнет несвежим маслом.

В Балашове на выходные Вика с отцом обычно ездила в Майское. Особенно поздней осенью - перед долгой деревенской зимой. Он сажал её в грузовик

рядом с собой, и они ехали несколько часов по неровной, вдрызг разбитой дороге. На каждой кочке машину подкидывало вверх, отец держал руль уверенно, сжимая его изо всех сил, крутил то влево, то вправо – смотря куда кидает машину. И всегда говорил:

- Это ничего. Это разве кочка? Вот это кочка!

Грузовик подбрасывало ещё больше.

Вика смеялась тогда очень громко, хотя было страшно, но она знала – рядом отец, и что бы ни случилось, всё будет хорошо.

Когда они проезжали мимо убранных полей, отец открывал окна, и Вика чувствовала ещё тёплый ветер и степной запах. Ей нравилось это время – нет следа летней жары, но всё ещё живёт и дышит так, как могут дышать скошенные травы.

А потом отец останавливался где-нибудь на дороге, и они садились на колючую холодную землю.

- Смотри, это к зиме, - говорил он, подбирая непонятно откуда взявшийся, слегка подмороженный, хрустящий лист. Вика брала его в руки, и он рассыпался.

...

- Поможешь мне с машиной? – говорит отец.

Он наливает полное ведро горячей воды и моет свою огромную фуру прямо во дворе. Вика в одной футболке и джинсах, как и он. Без куртки, хотя уже очень холодно.

- Может, прокатимся? – спрашивает он.

Вика забирается в машину, садится рядом с ним, смотрит в окно. Кругом асфальт, асфальт, и пахнет мутно и сыро.

- Мы не сможем поехать домой на каникулы? – спрашивает Вика.

- В этот раз не выйдет. Я только с рейса. Да и денег лишних нет. Может, весной.

- Ты уже не уедешь?

- Пока нет. Мать-то как?

- Мог бы и звонить ей иногда.

- Не мог.

- Мне же звонишь.

- Ну, это тебе. Хочешь чего-нибудь?

- Не знаю. А что тут есть?

Он отвозит Вику к палатке с быстрой едой, покупает горячую кукурузу, приносит в машину. Посыпает солью, протягивает.

- Почти как в деревне, - говорит, - помнишь?

Вика помнит.

- Не привыкла ещё здесь?

- Что-то не очень.

- Слушай, я всё понимаю. Но мы не вернёмся назад. Ты будешь жить здесь. И учиться, и работать.

- А где ты недавно был? Покажи на карте.

Отец достаёт большую карту из бардачка, раскладывает на коленях, пачкает её липкими от кукурузы руками и показывает города, в которых был.

- Здесь и здесь. И здесь тоже.

- Так много. – Удивляется Вика.

- Так два месяца же. Здесь тоже был.

- А в следующий раз куда?

- Куда пошлют.

- А с тобой можно?

- А школа?

- Да наплевать.

- Я тебе дам – наплевать. Купим домой? – он показывает на пустой пакет из-под кукурузы.

...

На Новый год должны были поехать домой. Всё уже было подготовлено. Вика собралась и ждала. Отец приехал двадцать девятого декабря. Это был последний учебный день. Ждали маму. Если выехать ночью, как хотели, то тридцатого уже там. Но мама пришла пьяная. Вика слышала из коридора.

- Где ты так напилась? – отец.

- Отвали, - мама.

Она прошла на кухню, прямо в сапогах. Развела грязь.

- Нам же ехать, - отец прошёл за ней.

- Никуда я не поеду.

- Собирайся, - отец крикнул Вике, - одни поедем.

- Она тоже никуда не поедет. По бабам своим таскать её будешь?

- Собирайся.

- Я сказала, она никуда не поедет. А ты чего стоишь? Налей чего-нибудь. Чай налей.

Вика стоит в коридоре, прижавшись к стене. Её отец, крупный, загораживает проход в кухню, но ей видно мамино некрасивое лицо с размазанной яркой косметикой. Мама хочет пройти, но отец не пускает её.

- Пусти...

Он толкнул маму, и та упала обратно на стул.

- А ты чего стоишь и смотришь? – мама кричит Вике. – Зачем я тебя только рожала? На его стороне всегда. Своего папочки любимого.

Отец с размаху ударил её по щеке. Она упала головой на стол, зарыдала. Потом вскочила, бросилась на него.

Соседи не выходили – привыкли не лезть в чужие разборки.

Вика бежит в коридор. Одевается.

- Куда собралась? – отец за ней. - Иди спать.

- Руки убери от меня.

Дрожа, пытается найти своё пальто. Отец отнимает, не даёт надеть его. Пальто рвётся.

Отец пытается затащить Вику в комнату, но она вырывается.

Выходит Бабуля. Отец как-то тупо посмотрел на неё. Вика подняла своё рваное пальто.

- Куда ты пойдёшь? – отец загораживает дверь.

- Отойди.

Стоит у двери.

- Отойди. Или ударишь меня, как её?

Он забирает ключи.

- Остынь.

- Отойди, я сказала.

Отходит.

- Дай ключи.

- Куда ты пойдёшь?

- Дай мне ключи.

Отдаёт.

- Замёрзнешь – вернёшься, - кричит он вслед.

Весна

1

Я наконец-то могу пойти в комнату отца. Прошло больше года, а я всё не решалась. После его смерти я была там всего один раз. Отключила холодильник, помыла посуду, забрала продукты, закрыла дверь. Всё остальное

оставила как есть. Вещи, диван, бельё, на котором он спал – ничего не взяла. Год всё так и лежит.

Понимаю, что, наверное, не правильно. Но не могла так сразу.

Дверь в квартиру открыта настежь. Замка нет. Входную дверь не закрывали ещё и при жизни отца, но сейчас его нет вообще.

В коридоре темень. Пытаюсь включить свет – нет даже выключателя. Вместо него – торчат во все стороны провода.

Тихо. Где все – не понятно. Праздники – должны быть дома. Сидят, наверное, по своим комнатам. Боятся выходить или спят – кто их знает.

Подсвечиваю себе телефоном, открываю дверь. Его комната самая первая от входной двери. Захожу. Включаю свет. Здесь выключатель на месте, свет горит.

Диван всё ещё не сложен, но постельного белья нет. Складываю диван. Открываю шкаф – там аккуратно развешаны поглаженные, чистые рубашки. Отец всегда любил порядок. Снимаю их, кладу вместе с вешалками в одну кучу на диван.

Открываю другой шкаф – с бельём. Под носками нахожу несколько книг с молитвами. Достая всё вместе – и тоже на диван. На верхней полке всякая мелочь вроде бритвы и прочего. И огромной стопкой четыре тома Толстого. Пролистываю. Страницы жёлтые, старые, обложек нет – на титульном листе от руки написано «Л. Толстой. I том». Откуда они у отца – не знаю. На первой странице внутри книги подпись – «Евгению от верной подруги Нины». И год – 1973. Ему было двадцать три года.

Смотрю вокруг. Пусто как-то. Вроде ничего и не изменилось. Около дивана – тяжёлый, на железных ножках журнальный стол. Балкон открыт. Холодно. Рядом с балконом справа полочки – отец их сам делал, на них лекарства. Но-шпа, анальгин, какие-то ампулы. На скорой, наверное, кололи. Так и лежат. Никто их не выкинул.

Обоев нет. На голых стенах какие-то телефоны. Написаны крупно – отец плохо видел. Нахожу свой телефон. Над ним подпись – Ира, дочь, мобильный. Отец всегда записывал всё важное на стенах. На старой квартире, где жили вместе, все стены были исписаны номерами. В основном, рабочие. Коля-

балкон. Света-ванна. Дима-подрядчик. И так далее. Отец делал ремонты, так что можно сказать – это клиентская база. Последние годы отец просил разместить его объявления в Интернете. Я ему объясняла, что таких объявлений море, но он не понимал.

- Ты мне не хочешь помочь, а это деньги, - говорил.

Мечтал делать свой бизнес, работать на себя. Не любил, когда кто-то указывал ему – что делать. Совсем как мои ученики.

Он мне рассказывал, как однажды делал дачу какому-то бизнесмену. Делал евроремонт и брал тоже евро. Бизнесмен хорошо заплатил, но сказал, что если через месяц плитка отвалится, он его найдёт и зарует на своей же собственной даче. Но плитка не отвалилась. Ни через месяц, ни через год.

- И этот жлоб мне такое говорит. – Ругался отец. - Если я делаю – то делаю. А захочу – сожгу его вместе с его дачей.

Он много чего рассказывал.

Рассказывал, как провалил экзамен в инженерном институте. Попросил у своего соседа по парте списать. Тот повернулся и сказал:

- ЧЧВ.

Отец встал и ударил его.

- Я ему не за то, что он списать не дал, в морду вмазал, а за это ЧЧВ.

- А что такое ЧЧВ? – спрашивала я.

- Человек человеку волк. Поняла? Разве так должно быть?

Я понимала. Я его всегда понимала.

Слева должен быть телевизор. Но его нет. И полочки под телевизор тоже нет.

Звоню маме.

- Я у отца, - говорю о нём, как о живом. По привычке, - тут телевизора нет. Не брала? А кто? Соседи? Спрошу. Да.

Обещаю перезвонить.

Да чёрт с ним, с телевизором. Выхожу на балкон. Бутылок нет. Значит, убрали или соседи взяли – сдать. Хотя, не знаю, сдают ли сейчас. С балкона видна моя школа - одного цвета с небом. Можно увидеть главный вход. Где-то там моё окно.

Вспоминается, как ходила сюда, когда отец был ещё жив. Он тогда пытался бросить пить, но срывался. Звонил мне и просил денег. А я шла сюда. Так было много-много раз. Он выходил на работу на полгода. Потом – опять звонок, и всё сначала.

- Ты думаешь, я виновата? – спросила мама на похоронах.

- Не знаю. – Ответила я. - Он звонил мне за день до смерти, просил прийти к нему. Но я не пришла.

- Кто же знал, что он умрёт.

- Никто не знал.

Никто ничего не знал.

Шаги в коридоре. Даже не стучится. Просто заходит в мою комнату.

- А вы кто? – спрашивает.

В форме. Проходит прямо на середину – и на чистом полу отпечатки его грязных огромных ботинок.

- А вы?

- Участковый. Вообще, здесь вопросы задаю я.

- А что вы здесь делаете?

- Да я уж тут пропишусь скоро. Соседи звонят – эти бухают шестой день, когда ж они сдохнут. А вы кто?

- Никто. Я дочь.

- Какая дочь?

- Здесь отец жил.

- Это в том году умер. Только объявились. Документы с собой?

Достаю паспорт.

- Наследница?

- Да.

- А где раньше-то была?

- Уезжала.

- Уезжала... Я вообще мог дверь опечатать и бетоном закатать, вы это знаете? Наследница...

Отдаёт паспорт.

- Во второе отделение подойдите. Я вас запишу. А то мало ли кто здесь шляться ещё будет – вас не разберёшь, наследники вы или кто.

Хочется разбить ему лицо.

- Пошёл к чёрту, - говорю.

- Что?

- Пошёл к чёрту из моей комнаты.

- Ты обалдела? Я тебе сейчас пятнадцать суток за оскорбление.

- Вы находитесь на территории частной собственности. Документы в порядке. Я записала разговор и звоню в полицию.

Достаю телефон.

- Насмотрелась фильмов. – Но телефон подействовал. Испугался.

Хотя страшно мне. В пустой квартире с каким-то участковым - кто его знает.

Ушёл. Захлопнул дверь. Закрываю её на замок.

Он поломился в соседнюю дверь, ему не открыли. Потолкался ещё и ушёл.

Вспоминаю, что в тумбочке, которая пропала, лежала труба. Обычная труба, на которой играют. Отец выиграл её в детском лагере. Умел ли играть – я не знаю. Но трубу жалко. Не знаю, почему именно её. Просто стало жалко. Не телевизор, который покупали вместе двенадцать лет назад на Горбушке. А именно трубу.

Стучусь к соседям. Молчат. Знаю, что дома.

- Да откройте, - говорю. – Ушёл он.

Открыли. Пьяный парень - сын хозяйки.

- Трубу отдайте, - говорю.

- Какую трубу?

- Трубу. В тумбочке была. Барахло себе оставьте.

- Мам, тут...

Выходит. Суется. Испугалась, что заявление напишу.

- Да мы взяли просто, чтоб не пропало. Дверь открыта была. Отдай, сынок.

Сынок ушёл, вернулся, выкатывая тумбочку на колёсах. На ней телевизор. Сам закатил в комнату. Поставил на место.

- Вы как, - это уже она, - жить будете? Или продавать? Отец, вроде продавать хотел.

- Не знаю.

Открываю тумбочку. Труба там.

Так это нелепо. Я посреди всего этого. Этой пьяной женщины, её пьяного сына - мальчика двадцати лет.

Сажусь на диван с этой несчастной трубой. Засовываю её в дорожную сумку, какую принесла с собой. Не беру больше никаких вещей.

Выхожу.

- Он нам и газ провёл сам, и свет, - она вышла и теперь не уходит, - и замок сколько раз чинил, и вообще, по мелочи. Такие руки были – всё мог сделать.

Это она об отце.

- Знаю, - говорю я. – Присмотрите за комнатой.

...

Третья четверть очень долгая – почти три месяца – и замкнутое пространство постепенно начинает давить. В школе как будто не хватает воздуха, и каждый урок становится пыткой для всех.

После двух четвертей, которые для моего восьмого класса окончились десятью двойками, дети немного притихли. Многие стали понимать, что так они школу не окончат вообще, многие удивились, что я ещё не ушла и не собираюсь, и все знали, что оценки как-то получать надо.

В этот момент я решила переломить ситуацию.

Они заваливаются все вместе, с шумом, как всегда. Кидают сумки на парты, садятся, как привыкли, смеются, шумят.

- Сядьте по двое и ближе ко мне, - я это говорю каждый раз.

Никто не слушает.

- Тогда сяду я, - говорю.

Я разворачиваю парту и сажусь ближе к ним. Парта тяжёлая, и я двигаю её с шумом.

Переглядываются. Толкают друг друга. Решили, что я сошла с ума. Может быть, так оно и есть.

- Вам помочь? – сразу весело бросается мне на помощь Ярослав.

Но Андрей его одёргивает и силой сажает на место.

- Сиди! – говорит он ему.

Притихли. Смотрят – что будет дальше.

- Теперь мы будем учиться так, - говорю я, - Ярослав, раздай тетради.

Я сама купила им тетради. Они стопкой лежат у меня на столе. Ярослав опять радостно вскочил, точно собачка, которую вот-вот возьмут на прогулку. Но Андрей опять одёрнул его и посадил на место.

- Мы не хотим, - сказал Андрей.

Андрей всегда говорит тихо – он никогда не кричит, но когда он говорит, его слушают и выполняют всё, что он скажет беспрекословно. Мне бы так.

Смотрю на них, на всех. Красивые, молодые, наглые. Четырнадцать лет. Как-то мельком вспоминаю себя. Восьмой класс. Новый учитель русского. Сочинение - «Мой кумир». Писала про Виктора Цоя. Потом вспоминаю свой курс в институте, свой семинар. Как сидели вповалку, где придётся, потому что места в маленькой аудитории не хватало, а нас было человек сорок. Молодые, красивые, наглые. Каждый хочет что-то изменить, что-то взорвать, что-то написать. А мы ведь с этими детьми, и правда, не так уж далеко стоим друг от друга.

- Мы всё равно ничего не будем делать, давайте просто договоримся. – Теперь говорит Андрей, а не я. – Мы тихо сидим остаток года, не мешаем вам. Я за всем прослежу. А вы ставите нам оценки. В девятом классе вы от нас откажетесь, если захотите. Нас всех это устроит.

Деловой какой. Наверное, далеко пойдёт.

Вдруг мне становится смешно. Они диктуют мне условия. Они не хотят, чтобы я выполняла свою работу. Я буду приходить сюда, сидеть, получать свои пятнадцать тысяч рублей в месяц и уходить домой. Неужели всё это стоит того, чтобы учиться, работать, уехать от Вильфрида, жить в тесной квартире? А может, они правы? Нужно делать именно так – не напрягаться, не ругаться, а просто жить, не обращая ни на кого внимания.

Но мне смешно. Смеюсь долго, взхлёб, как давно не смеялась. Они совсем притихли, точно животные, когда от страха те прижимают уши и поджимают хвосты. Наверное, и правда, думают, что я не в себе. А может, я и не в себе? У них своих проблем полно. А тут я откуда-то взялась, что-то от них требую. А им не до меня. Им просто не до меня. А мне не до них. Вот и всё, что нас связывает.

- Вы все так думаете? – говорю.

- Все. – Андрей.

- Хорошо. – Я встаю, открываю дверь. – Тогда идите. Мне больше нечего вам дать. А вам – мне. Вы правильно сказали в сентябре - мы друг другу никто, а значит, нечего и стараться. Всё, вы свободны. И я тоже.

Молчат. Сидят. Не ожидали.

- А если уйдём? – Андрей.

- Больше сюда не зайдёте никогда.

Я жду. Не знаю, что я буду делать, если они все уйдут.

Но они сидят. Как и мы сидели, когда мастер в институте сказал – «если вы думаете, что я позволю вам писать здесь плохо, уходите».

Первый встаёт Ярослав. Андрей на этот раз не удерживает его. Я слежу за ним глазами. Но он идёт не к выходу, а к моему столу, берёт стопку тетрадей и раздаёт. Все остальные молча смотрят на него.

За ним встаёт Андрей. Он проходит мимо Ярослава, толкает его в бок, идёт мимо моего стола, сбрасывает учебники, и они с грохотом падают на пол, и уходит.

Я захлопываю дверь так, что слетает плакат со сложными предложениями.

...

Андрей действительно перестал приходить на уроки. Поначалу я думала, что он испугается, придёт, как ни в чём не бывало, а мы сделаем вид, что ничего этого не было. Но он так и не пришёл. Он ходил в школу, на другие уроки, но только не ко мне. Но без него стало как-то тише и спокойнее.

- Расскажи мне об Андрее. Что он из себя представляет? – спросила я у Насти, когда она с девчонками дежурила у меня в кабинете.

- Ну, он вообще какой-то странный, - ответила Настя, - я знаю, что он живёт с бабкой. Мама у него уехала за границу уже давно. Она там вроде замуж вышла. Она очень редко приезжала и его никогда не забирала с собой.

- Он в началке очень умный был, - добавляет подружка Насти, чёрненькая Нинка, вся в рыжих, точно нарисованных, веснушках, - стихи хорошо читал. Ездил даже на конкурс в Москву куда-то. Но потом изменился.

- Если бы не он, то у нас бы все лучше учились. Он всегда всех подговаривает доводить учителей. Ему, если какой-то учитель не нравится, то он будет мешать. А если нравится, то может сидеть тихо. Такой он.

- А я ему, значит, не нравлюсь? – спросила я.

- Вы... Ну... Как бы сказать... - девчонки замялись. Видно, что они уже обсуждали это между собой. Но сейчас стеснялись сказать.

- Ну, говорите уже, - я улыбаюсь и показываю, что не разозлюсь и не расстроюсь.

- Вы как будто не из нашего города. Вы книжки читаете, пишете грамотно, говорите красиво. Никогда нас не оскорбляете. Вы не для нас. Нам другой учитель нужен. Вы всех только бесите, потому что никто из нас не будет такой, как вы. Это знаете, как раздражает.

- Но я же такая же, как Галина Ивановна или другие учителя.

- Нет. Вы не такая. Галинка нас всегда называла «чурбаны» и «бестолочи», говорила, что из нас сочтется невежество. И мы её понимали. Мы её за это называли «Сатана Ивановна». А для вас даже прозвища никакого нет. Что думаете о нас вы – никто не знает. И потом, все учителя на посёлке живут. Мы их всё время в Пятёрке видим. А вас никогда.

- Значит, мне нужно ходить в Пятёрочку и называть вас бестолочами? – шучу я.

- Ну, типа того.

...

С того самого дня уроки стали другими. Все наконец-то сели по двое, с последних парт переселились на первые. Больше не играли в карты и не доставали телефоны. Правда, половина класса тут же потеряла тетрадки, которые я им купила, и многие опять писали на листочках, но больше не делали из них самолётики. Учебники теперь читали, а не бросались ими друг в друга. Ручки у каждого были свои, и больше не приходилось ждать, пока кто-то запишет и у кого-то освободится ручка, чтобы передать её дальше. Так что стали появляться и тройки, и даже четвёрки. Я теперь старалась пройти за одну четверть весь учебник, выбирая оттуда только самое главное и нужное.

В этот момент ко мне на урок решила прийти завуч, Любовь Александровна.

Дети перепугались. Всю перемену решали – куда сесть. На первую парту спихнули Диму «Осла». Потом догадались, что она-то сядет назад, и Димины вещи скинули обратно. На первую села Настя. Поближе ко мне, подальше от неё. Все достали тетради, сложили руки, сели, приготовился писать.

- У нас же литра! - крикнул кто-то.

Все выругались. Достали другие тетради.

Завуч зашла со звонком, обошла весь класс, села на последнюю парту и приготовилась писать свой отчёт.

Я рассказываю про литературу 20 века. Рассказываю про Куприна. За Куприна в институте у меня стоит «удовлетворительно». Преподаватель тогда спрашивал – «Вы русская? Почему же вы не знаете Куприна?»

Мы проходим повесть «Ася». Её, конечно же, никто не читал. Разве что Эля. Но она настолько скромная, что на уроке почти не говорит. Больше мне спрашивать некого. И я начинаю говорить сама. Это, конечно, недопустимо. По новым стандартам говорить на уроке должны ученики. Но мои и так слишком много всего наговорили за всё это время. Да и «новые стандарты» им как-то не подходят.

Я рассказываю про эмиграцию, про то, как Куприн хотел получить Нобелевскую премию, а её дали Бунину. О том, как он мечтал вернуться и вернулся, в отличие от Бунина, но вернулся уже умирать.

Раздаю им распечатанный отрывок из «Аси», и они читают по цепочке.

- «Нас-тало мол-чание. Я продол-жал держать её руку и гля-дел на неё. Она по-прежнему вся сжи-малась, ды-шала с трудом и ти-хонь-ко поку-сывала нижнюю губу, чтобы не за-пла-кать, чтобы удер-жать на-ки-пав-шие слёзы».

В классе была тишина. Страх перед завучем – человеком, обладающем большей властью, чем я, сковывал их. И они, молча и покорно, сидели.

Только сейчас в тишине я замечаю, как чудовищно они читают. По слогам, коверкая слова, ставя не туда ударение, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же слову.

- «- И вот теперь всё кончено! – начал я снова. – Всё. Теперь нам до-лж-но рас-статься».

Смотрят на меня вопросительно.

- Что значит, «должно»? – спрашивают.

- Это значит, нужно, - говорю я.

- «Я ук-рад-кой взгля-нул на Асю... лицо её быстро кра-снело. Ей, я это чув-ство-вал, и стыдно станови-лось и страшно».

Урок прошёл быстро и спокойно. Теперь я понимаю, каким он должен быть.

- О чём эта повесть? – спрашиваю я.

- О любви, - говорит Нинка и краснеет.

В другой раз все бы обязательно засмеялись и стали отпускать всякие шуточки, но сейчас они молчат.

- А ты как думаешь? – я спрашиваю Ярослава.

- Я думаю, что они не любили друг друга. – Сказал он, - когда любишь, ждёшь и прощаешь. А тут – она убежала, а он даже не попытался её догнать.

- А ты бы что сделал? – спросила Настя.

- Я бы догнал, - сказал Ярослав и сам покраснел.

После звонка завуч никого не отпускает и просит меня посмотреть у них домашнее задание. Там должно быть сочинение, но я знаю, что его там нет.

Я прохожу по рядам и смотрю в их тетради. У кого-то тетрадь в клетку, у кого-то в косую линейку, у кого-то по истории.

- У всех есть, - говорю.

Они переглядываются.

- У всех? У всех есть домашнее задание? – переспрашивает Любовь Александровна.

- У всех, - ещё раз говорю, - у всех есть домашнее задание.

Она могла бы проверить, если бы хотела, но она этого не делает. Уходит и просит зайти к себе.

...

- Я посмотрела, - говорит она, - у вас очень много двоек.

- Да, - я почему-то чувствую себя так, словно оправдываюсь.

Она вздыхает. Она в этой школе с самого открытия и повидала всякое, но сейчас даже она вздыхает.

- Я скажу прямо. Этот класс, который вам достался, ещё несколько лет назад назвали бы классом коррекции. Но поскольку больше нет такого определения, то учить их приходится вам. Я знаю, что там непростые дети. Они плохо читают, плохо пишут, плохо говорят. Это всё понятно. Поэтому мы посоветовались и решили распустить этот класс.

- Распустить? – переспрашиваю я.

- Да. Многим из их уже исполнилось четырнадцать лет, и мы сможем отправить их в техникум без получения аттестата. А остальных распределим по другим классам или по другим школам. В Москве есть интернат для сложных подростков. Кого-то можно будет отправить туда.

- Но нужно согласие родителей, - говорю я.

- Кто-то согласится. А кто нет – тех мы направим в другие классы.

Я смотрю удивлённо. Вспоминаю, с каким трудом они читали только что, и мне вдруг становится их жалко. Техникум, интернат, другой класс...

- А если они начнут учиться? – спрашиваю я.

- Они уже не начнут, - говорит она. – За этот год не начали.

- Но ещё две четверти.

- Я не понимаю. Вы как будто не хотите. Но вы же сами говорили, что они неуправляемые. Мы предлагаем вам избавиться от них.

- Но что с ними будет?

- Думайте лучше о себе. Они не пропадут. Сколько я здесь работаю – никто из них никогда не пропал.

- Что от меня требуется?

- Характеристика на каждого. Но такая, что можно было поставить вопрос о роспуске класса. И потом, - прибавляет она, - у вас проблемы с Каракуловым?

Это Андрей.

- Были небольшие, - говорю я.

- Он перестал ходить на уроки?

- Перестал.

- Вы знаете, вызывать там некого. Мать живёт не с ним. Я скажу ему, что если он не вернётся в класс, мы подадим документы в полицию – пусть лишают родительских прав.

Я молчу. Ещё месяц назад я была бы только рада избавиться от этого класса, но сейчас... Может, у меня стокгольмский синдром, когда жертва становится зависимой от своего мучителя и не хочет с ним расставаться?

- Вы со мной не согласны? – спрашивает завуч.

- Я не знаю. Вы правы, конечно. Класс слабый и практически необучаемый. Но ведь нельзя же так отказываться от него.

- У вас просто мало опыта. А я уже здесь двадцать с лишним лет. И я вижу одно – если они не хотят учиться – никто их не заставит. Ни я, ни вы, ни министры, ни сам президент. Всё будет бесполезно. Так что не тратьте свои силы. Вы ещё слишком молоды для всего этого.

Возвращаюсь в класс.

- Мы вас не очень подставили? – спрашивают. - Спасибо, что не сдали с домашкой.

- А что, обычно сдают?

- Конечно. Галина Ивановна всё время бегала к директору. Из-за каждой ерунды.

Стопнулись около меня. Дети как дети. У кого-то – новый отец и маленький братик. У кого-то – уже третий отчим, с которым надо как-то ужиться. У кого-то – съёмная коммуналка и чёрт знает что вместо родителей. А кто-то вообще один. И всем им надо как-то с этим управляться. А ещё - Интернет, друзья, любовь. И целая жизнь, которую надо куда-то деть. Бой в груди, который ничем не погасить. Вспоминаю Бродского – «поэзия рождается из шума в сердце». У них у всех этот шум, который не даёт им жить спокойно. А что из него родится – кто его разберёт.

...

После уроков, как обычно, ко мне приходит Вика и ждёт меня, чтобы пойти вместе до дома.

- Вам сказали что-то плохое? – спрашивает она по дороге.

- Сказали, что хотят распустить ваш класс.

Я курю при ней, не стесняясь.

- Вы рады?

- Конечно, нет.

- Но от нас же одни неприятности.

- Я и сама не знаю.

Идём мимо её дома в парк при больнице Ухтомского. Вход закрыт, но мы перелезаем через забор.

Садимся на лестницу около морга.

- Ты была здесь раньше? – спрашиваю я.

- Да. Я здесь часто гуляю. А вы?

- Только, когда отпевали отца.

- У вас умер отец? Я не знала.

- Мы не особо общались в последний год.

- Он чем-то болел?

- Нет. Язва открылась. Да брось – обычное дело.

Терпеть не могу, когда начинают расспрашивать. Люди умирают – а все удивляются, словно это случилось впервые, и словно они сами будут жить вечно.

Вика больше не спрашивает, чертит что-то пальцами на снегу.

- Замёрзнешь, - говорю.

- Да ладно.

Ложится на снег и смотрит вверх. Руки всё-таки замерзают, прячет их в рукава куртки. Мои перчатки отказывается брать. Ложусь рядом и тоже смотрю вверх. Сапоги быстро намокают. Но этого как будто не чувствуешь. Уже ничего не чувствуешь.

- Хорошо бы сейчас наступил конец света. – Говорит. - Все бы умерли быстро и незаметно. Никто бы не страдал. Вы бы хотели, чтобы наступил конец света? Чтобы раз – и всё?

- Тогда к чему были твои предыдущие четырнадцать лет?

- Я и так не знаю, к чему они. Всё сразу навалилось. Скоро девятый класс – а что дальше? Я как будто не знаю, куда идти.

- Значит, не надо никуда идти. Сделай остановку. Как я, когда пришла в эту школу.

- Остановиться. А что дальше?

- Не знаю. Время покажет.

- Всё впереди?

- Ну, вроде того.

- Мне кажется, ничего нет. Родители хотят разойтись. По-моему, они не очень хотели меня рожать. Вот вас хотели?

- Я никогда не спрашивала. Мама родила меня в тридцать четыре года. Думаю, она хотела, да. А отец... У него уже был сын от первой жены. Но, думаю, он хотел. Это он выбрал мне имя. А ты бы хотела, чтобы тебя не было?

- Не знаю. Но я себе всё не так представляла.

- Что? Жизнь здесь? Или жизнь вообще?

- Не знаю. Отец притащил меня сюда, думал, они помирятся, будут нормально жить, семья, и всё-такое.

- А оказалось?

- А оказалось вот что... Когда ссорятся, перетягивают меня на свои стороны. Мама – к себе. Отец – к себе. А я их всех люблю. Мама сейчас

съехала, живёт в Быково одна. Папа взял там квартиру в кредит. А я должна решить, с кем останусь.

- А с кем ты хочешь?

- Иногда, когда я приезжаю к ней, она становится той мамой, какую я знала в детстве. Но потом она вспоминает отца, и опять всё снова. «Иди к своему родному. Ты мне не нужна. Мне нужно строить свою жизнь». А когда я с ним – «Почему ты не звонишь? Не скучаешь по мне. Бросила меня, живёшь там со своим».

- У неё есть кто-нибудь?

- Был когда-то. Меня ещё тогда не привезли. Она встречалась с одним богатым и хорошим. Готов был забрать её и меня. Но я не поехала. Я сказала – остаюсь с отцом. В итоге, они расстались.

- И она обвиняет тебя?

- Да. Говорит, что я променяла её на «своего родного». А он, и правда, родной. Другого же отца у меня нет, и не будет.

- А у него есть кто-то?

- Сейчас не знаю. Раньше были какие-то женщины. Иногда мне кажется, что во всём этом нет абсолютно никакого смысла. Во всей этой жизни. Вообще никакого. Все только работают, работают и жалуются, как им тяжело. Зачем работать, если так тяжело? Зачем нужна семья, если всё равно все несчастливы? Ни смысла, ни радости. Но должно же что-то быть? Так же нельзя.

Нельзя.

- Ты хотела бы уехать домой? – спрашиваю.

- Да.

Достаю кошелёк.

- Держи.

- Вы что, не надо.

- Бери. Съездишь в свой Балашов.

- Кто меня пустит без родителей?

Убираю деньги.

- Девочки, здесь не пляж, - какая-то женщина в белом халате и шубе вышла на крыльцо покурить, - идите домой.

...

Они долго перекидывались словами. Ярослав что-то сказал, Андрей ответил. Ещё сказал – ещё ответил. Потом Ярослав встал, подошёл к нему вплотную. Встал Андрей. Ярослав толкнул. Тот в ответ. Ярослав замахнулся стулом. Андрей ударил. Ударил по лицу.

Ярослав не слабак, но он отлетел в другой конец класса, сломал спиной край парты. Попытался встать. Андрей ударили ещё. Вскочил Данил, Дима, схватили его со спины за руки. Тогда Андрей ударил ногой. Ярослав уже не встал сам. Я никогда не видела столько крови.

Прибежали все, кто мог - завуч, Борисовна из соседнего класса. В общем, все, кто был рядом. Детей отпустили домой. Ярослава отправили к медсестре, позвонили его матери.

Но приехал отец, которого я раньше никогда не видела. Крупный, мощный, похожий на медведя. Совсем не такой, как Ярослав. Злой, явно на взводе.

Андрей стоял, казалось, совершенно спокойно, улыбался.

- Чё ты улыбаешься? - отец Ярослава, казалось, готов был сам ударить его прямо здесь.

Я смотрела на его крепкие руки. Андрей тоже смотрел, но продолжал улыбаться.

- Что произошло в вашем классе? – спрашивают уже у меня.

- У меня спрашивайте, - сказал Андрей.

- Не лезь, - я говорю Андрею.

- Да мне всё равно!

Вернулся от медсестры Ярослав. Увидел отца. Удивился.

- А ты чего приехал? – спросил он.

- Ну как чего? – грубый прокуренный бас звучал на весь класс. – Не надо – уйду.

Я поняла – Ярослав сам отца видел не часто.

- Так иди. Сами разберёмся.

Пришёл директор с инспектором, и Валентина Борисовна выводит меня из кабинета. Заводит к себе. У неё тихо, спокойно, никого нет. Включает электрический чайник.

- Что теперь с ними будет? – спрашиваю я.

- Андрею есть шестнадцать лет?

- Не знаю.

- А кто начал драку?

- Мне кажется, Ярослав первый встал. Но они всегда дружили. Наверное, это из-за меня. Из-за тех тетрадей...

Я сижу так, будто виновата во всём.

- Ну что, ты к ним охрану приставишь?

Она не может показать мне, что боится – она старше – но проливает чай.

- Мать Андрея не отвечает на телефон, – говорю я.

- И не ответит. Свяжись с бабушкой. Она работает у нас уборщицей.

Я и не знала. Виделись с ней каждый день, но я даже не замечала.

- Ничего я не знаю об этих детях, - говорю я.

Беру блюдце, наливаю туда по привычке несколько капель чая. Достāju сигареты. Потом вспоминаю, где нахожусь.

- Кури, - машет рукой.

Закрывает изнутри на ключ дверь.

...

Оказалось – у Ярослава сломан нос и рёбра. Он всегда казался мне таким спокойным. Ничто его не задевало. На уроках последнее время сидел тихо – я

забывала, что он есть в классе. Только иногда в нём проявлялось что-то. Какая-то храбрость. Как тогда – с тетрадями. После этого случая его стали как-то задевать всё время.

Однажды Ярослав встал посреди урока, подошёл к Диме Осланову, что-то сказал и сел на место.

- Что такое? - спросила я.

- Ничего. – Ответил он.

– Ко мне подойди, - сказал Андрей.

- Надо будет – подойду.

Ярослав был сильным, Андрей тоже. На Ярослава обращали внимания, на Андрея – приходилось из-за его выходок. Но своё лидерство в классе Андрей бы не отдал, хотя это лидерство ему было не нужно. Но он к нему привык, дети к нему привыкли, учителя к нему привыкли, все к нему привыкли. Андрей передрался с пятого класса, наверное, со всеми. Доказал всё, что мог. Но терпеть кого-то другого такого же, он бы не стал.

Всё-таки звоню его маме.

- Это из школы. По поводу Андрея Каракулова.

Бросает трубку.

Набираю ещё. Не берёт.

Ярослав в школе больше не появлялся.

- Он этого так не оставит, - говорили все, - или ножом пырнёт, или ещё что.

А меня вместе с Андреем вызвали в детскую комнату на допрос.

Пишу характеристику. «Интерес к учёбе – средний. Успеваемость – хорошая. Интересы – спорт. Материальное положение – стабильное. Есть отдельная комната, есть место для занятий и прочее. Отношение к учителям – уважительное. Отношения с одноклассниками – хорошие, дружелюбные». И так далее. Переписываю несколько раз. Всё это неправда. Это все знают, но я всё равно пишу.

Самого Андрея, по-моему, всё это не очень волнует

...

Инспектор задаёт один и тот же вопрос – как началась драка, кто был инициатором, кто первый ударил. Андрей молчит. Его задевало, что я хожу везде с ним вместо матери. Но больше некому.

- Кто был инициатором? - опять тот же вопрос.

В детской комнате сидит серьёзный взрослый полицейский в форме, такой же, как тот, что приходил к моему отцу в комнату.

- Каракулов не был инициатором, - говорю я.

- Пострадал только Чекалин? Другие?

- Нет, другие нет.

- У Каракулова травм нет?

- Нет.

Андрей стоит за моей спиной, переминается.

- Три удара подряд. На самооборону не тянет. И словесную перепалку начал Каракулов.

- Но не драку.

- Не драку. Получается, как минимум, превышение самообороны. Как максимум - нанесение тяжких телесных повреждений. Сколько было лет на момент преступления?

- Пятнадцать.

- Будем думать. Каракулов, выйди.

Андрей нехотя выходит.

– Что же у вас в школе творится? Если бы ему было шестнадцать - два года лишения свободы. Что с детьми вашими происходит? Пятнадцать лет – они уже здесь. А дальше что? Колония?

Пишет что-то.

- Да вы не переживайте, – говорит опять, не переставая писать. - Мать пусть переживает.

- Да нет у него никого.

Отрывается от своих листочков. Говорит чётко и жёстко. Работа такая.

- А если бы Чекалин у вас там умер?

Встаёт. Ходит по кабинету. Думает. Сам тут недавно – видно. Да и не принимает решения. Но всё равно думает.

- Я два года служил в Афгане. До самого конца. Попал под призыв. Сами понимаете. Столько всего видел. И молодых. И старых. Разных. Забирали, не спрашивая. Все хотели жить. Без рук, без ног – не важно. Жить. А жили не все. А сейчас... Мирное время. Всё есть. Деньги – заработай. Девки – будут. Учись спокойно, коси от армии. А не откосишь – год отслужишь, не поломаешься. Что ещё надо? Живи – не хочу. А не живут. Не хотят. Сигают из окон, обкалываются всякой дурью. Морды друг другу бьют. По мне, не хочешь жить сам – не живи. Но не порти нервы другим. А вы трясётесь над ними. Я бы ему два года дал и посадил бы – всё равно дерьмо одно вырастит. Уже выросло. Шанс хотите каждому дать? Возможность проявиться? А не проявится. Время не то. Мы – другие были. Не такие, как эти.

- Время другое было. Они не виноваты. Что они хорошего видят? Четыре стены и экран монитора?

- А мы что видели?

- У вас была идея. Цель.

- Цель... Провалилась ваша цель к чертям собачьим. Так же нельзя. Вы же понимаете. А они знают, как можно? - Он кивает на дверь.

- Нет. И они не знают. Поэтому и сигают из окон. И морды бьют. По-другому не умеют. И будут бить ещё очень долго. А потом сделают такое, что вам и не снилось в ваши 90-е. И вы их посадите. И будете правы. Потому что то, что они сделают – это будет страшно. Они никого не боятся и никого не слушают, и никого не уважают. Да и за что уважать? Вы на войне многое видели за два года, а я в школе многое за год. Есть там вещи, которые не стоит уважать. И они это видят. Они же чувствуют лучше вас любой подвох. Вот вы его просмотрели в своё время. Поверили кому-то. А они чувствуют, что что-то не так. И никому не верят. Только выразить не умеют. Поэтому и ведут себя так. Они же понимают, что всё, что мы говорим им сейчас – это

чушь. Неправда. Всё неправда. Не то надо говорить. Не фальшивить. А мы фальшивим. Боимся. Заперлись у себя – и боимся. Слово боимся сказать. Они этого не прощают. Поэтому и ненавидят.

- Кого?

- Всех.

- И вас?

- И меня.

- И себя?

- И себя.

...

- Слушайте, давайте я буду один ходить? – говорит Андрей на улице.

- Помолчи уже. Сделал всё, что мог.

- А вам что-то будет за это?

- Мне-то что? Уволюсь и всё. О себе думай.

- Не увольняйтесь. Хотите, я извинюсь перед Чекушкой? Я же не знал, что так будет. Я, когда злюсь – не понимаю, что делаю. Как в тумане всё.

Я останавливаюсь и смотрю на него. Он как будто стал намного старше за год. По-прежнему невысокий – с меня ростом, но такое ощущение, что не ученик мой, а старший брат. Грубит всё время. За спиной учителям говорит «ты». Улыбается криво. Всё время что-то выигрывает в свой футбол, а двух слов связать не может. Только и умеет долбить по своему мячу. Хочет в физкультурный институт. Но для этого нужно пойти в десятый. А какой ему десятый, если он и восьмой не может окончить?

- Да иди ты к чёрту, - говорю я, - футболист. Всю голову, видимо, отбили. Не приходи больше. Видеть тебя не хочу. Сиди лучше дома.

...

Через месяц Ярослав гордо вернулся в класс, весело рассказывал всем, как лежал в больнице и там научился курить с мужиками. Андрея оставили в

покое. Признали превышение допустимой самообороны, но по возрасту дали только предупреждение.

Все в школе выдохнули.

Андрей продолжал ходить на уроки. Но теперь сидел тихо и писал всё, что я говорю. Демонстративно сел на первую парту и прочитал первую книгу в своей жизни – рассказ Толстого «После бала».

- Я хочу попробовать в десятый, - сказал он. - Вы останетесь?

- Экзамены сначала сдай.

Я перестала пытаться понравиться ему, поэтому стала сама вести себя, как обиженный ребёнок. Отвечала грубо или не отвечала вообще.

- Я всё сдам. Мы все сдадим. Вот увидите.

...

В этой жаре могилу нелегко найти. Страшно – вдруг не вспомню, где она. Кажется, направо. Посреди дороги растёт дерево. Помню, как на похоронах страшно и неуклюже несли гроб. Шли прямо по чьим-то могилам, потому что прохода не было. Передавали друг другу тяжёлый, обитый красным. Переносили на вытянутых руках. «Только не уроните», - кричала мама.

Сразу за деревом – могила отца. Памятника ещё нет. Только крест и фотография под ним.

Мама уже там.

Отцу полтора года.

- Надо бы памятник поставить, - говорит мама.

- Сколько обойдётся? – спрашиваю.

- Тысяч пятьдесят. Надо спросить.

- Спросим.

- Его сын не звонил?

- Нет.

- И на похороны не приезжал... Отец всё-таки. Надо бы ограду покрасить.

- Покрасим, - говорю.

На нашем участке в ряд три могилы. Уже стоят искусственные цветы. У отца – фиолетовые. Он всегда любил этот цвет.

- И лавочку поставить.

- Поставим.

- Я всё-таки себя виню, - говорит мама.

Я молчу.

- Если бы мы не развелись... Не разменяли квартиру... Но у него какой характер был... Один раз пришёл, хотел хлеба чёрного. А чёрного не было, был только белый. А он любил чёрный с селёдкой. Я сходила, купила. Хлеб, селёдку. А он взял и уснул. Полчаса звонила, стучала. Не открыл. Ключи я что-то не взяла. А холод – зима была. Пошла в кино. Так с этой селёдкой и сидела два часа в кино. Она потекла. Запах стоял страшный. Всякое было. Тяжело жили.

- Но что теперь вспоминать. Он умер. Нет его. Нет человека. Всё.

Молчим. От чёрных мраморных памятников – жар. Должна быть гроза – и в воздухе парит. Я смотрю – на памятнике рядом с крестом отца написано «Михайлов В.И.»

- Кто это? – спрашиваю.

- Это дед твой, Василий Ильич. Папин отец.

- А это баба Катя? – показываю на соседнюю могилу.

- Да. Твоя бабушка. Их с дедом хоронили рядом.

- А третья чья?

- А там прабабка и прадед. И Володя, брат твоего отца.

Отец всегда говорил – «у меня только брат есть. Никого больше».

- Здесь ещё твоя сестрёнка, Юля.

Я знаю – она родилась через три года после меня, но умерла в роддоме. Лёгкие не раскрылись.

- Так что у нас здесь все рядом. Как и положено. Твой папа всегда говорил – меня только к своим класть. Так и положили – к отцу, к маме, к брату. Нашёл свой дом.

Смотрю на фотографию отца. Ему там двадцать один год, сразу после армии. Другую не нашли, не искали – не до того было.

Красивый. Молодой. Жениться собирался. Не на маме. На маме – потом. Фотографировался для чего-то. Чёрно-белая. Не улыбается. Он редко улыбался.

Идём обратно.

- Вам, наверное, не стоит снимать комнату. – Говорю маме. - Живите в нашей квартире. Я пока у отца поживу. Рядом с работой.

- Там же пьяницы одни. Лучше уж мы там.

- Всё равно ремонт хотели делать. Я пока начну. Найму кого-нибудь.

- Зачем нанимать? Мой Саша всё сделает. У него, знаешь, руки какие.

Я улыбаюсь.

- Про отца тоже так недавно сказали.

Мама обнимает меня. Всё как-то темнеет и кружится. И глаза режет, как от яркого света.

- А что написать на памятнике? – спрашиваю.

- Можно просто имя и дату жизни.

- А ещё что-нибудь можно?

- Что хочешь - напишут.

- А можно просто – «папе»?

- Можно.

На перекрёстке расходимся по своим дорогам. Мама – на маршрутку. Я – пешком в свою сторону.

- Звони, - говорит мама, - кроме тебя у меня никого не осталось.

Знаю.

...

Вечером сама набираю Вильфрида. Говорю, что смогу приехать в августе.

- Это очень хорошо, - говорит. – Наш новый дом будет тебя ждать. Я пришлю денег.

- Не надо. У меня будут отпускные. У меня есть деньги. У тебя всё хорошо? – вдруг спрашиваю. Никогда раньше не спрашивала, как у него дела.

- Всё хорошо.

- У меня тоже.

- Ты можешь приехать с мамой. Я её тоже очень жду. Я очень люблю тебя, вас и вашу страну.

Он никогда не был здесь. Но всегда говорил, что по-настоящему влюбился в мою страну, когда познакомился со мной. Он говорит, что хотел бы приехать сюда, увидеть всё то, что вижу я.

- Здесь совсем не так, как ты представляешь, - говорю ему я.

- У нас здесь тоже всё не так, как ты представляешь. Но я бы хотел увидеть Москву. И тебя там.

2

Двадцать третье марта – день рождения Вики.

Это уже каникулы. На столе лежат деньги на новый телефон. Вика берёт деньги, идёт в ближайший «Связной». Телефон, который она хочет, стоит дорого. Мальчик-продавец аккуратно распаковывает его, включает, показывает, как делать фото, включает музыку. Ей всё нравится. Она покупает, идёт домой. Идёт мимо церкви и фотографирует её. Получается не очень ярко - белые стены на фоне серого мартовского неба.

Уже не так рано – и колокола бьют к полудню.

Вика впервые услышала их год назад - в своём городе. Она встречала бабушку из церкви. Было пять часов – должна была начаться вечерняя служба. И вдруг неожиданно стали бить колокола. Так, словно созывая всех.

Людей почти не было – будний день. Но колокола били так, словно площадь полна верующих. Никто не заходил в церковь, никто не выходил из неё. Но колокола били и били. Им ничто не было важно, кроме их собственного звона.

- Раньше колокол бил по покойнику, - сказала бабушка, - сколько раз бил, столько лет было умершему.

- А сейчас? – спросила Вика.

- А сейчас каждый день кто-то умирает, всех не перечесть.

Колокола били ещё долго. Сотни ударов, словно по всем покойникам сразу. И до самого дома Вика слышала их звон.

В своё последнее лето в Балашове она часто заходила в церковь. Помогала там по мелочам.

В городе деревянная церковь. Маленькая - раза в два меньше этой, но на службе было много народа, хотя тяжело выстоять. Вика стояла. Стояла, молчала, слушала.

...

Вечером приходит отец. Приносит цветы. Вика ставит их в трёхлитровую банку, потому что вазы нет. А он садится на кухне. Мамы теперь живёт в Быково и сюда не приезжает. Отец приглашает на кухню Мирославу – отметить.

Вика садится рядом, делает себе чай. Отец обнимает её одной рукой.

«Совсем как семья», - думает Вика.

...

- Видела, что творится? – отец делает телевизор громче.

В новостях показывают апрельские наводнения. В Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае.

- Интересно, как там наш Хопёр? – спрашивает он.

Хопёр – это река, два часа пешком от дома. Или сорок минут на автобусе. Будет набережная - грязный песок, каменные ограждения, запах гнилой воды

и рыбы. Говорят, в эту реку сбрасывают все отходы. Но там всё равно купаются.

Когда-то это была большая река, по ней ходили суда – сейчас маленькая несчастная речушка. Но в апреле, когда сходит снег, эта маленькая речушка разливается на весь край.

Паводки в Балашове бывают часто, но к ним привыкли, готовятся, и всё обходится.

Только однажды Вика видела настоящее наводнение.

Было начало апреля. Рано сошёл снег, рано потеплело. И живая вода пошла.

Скрыла под собой весь левый берег. Подошла к самым домам. Дома поплыли вместе с рекой.

Балашов разделён рекой на две части – и эти две части города были отделены друг от друга. Никакого сообщения между ними не было.

Была объявлена чрезвычайная ситуация, звучала воздушная тревога. Из-за этих паводков отключили на несколько дней воду, транспорт ходил с перебоем. Каждый день сообщали об уровне воды. Все сидели, отрезанные от цивилизации. Тогда все чувствовали свою страшную беспомощность перед надвигающейся водой. Чувствовали – но было чертовски хорошо. Весь город жил одной жизнью. Все были охвачены одной проблемой, одной бедой. И от этого становилось спокойно и радостно.

У них не ловил местный канал – и Вика бегала к соседям смотреть новости. Они наливали ей чай – и она сидела у них до вечера.

А потом отключали свет – и уже соседи бегали к ним за свечками. В темноте искали спички, зажигали. На газу грели ужин. Дверь не закрывали. И кто-то всё время приходил и рассказывал последние новости.

- Так однажды было в Москве. – Рассказывал отец. - Тебя здесь ещё не было. Отключили электричество в нескольких районах. И в Люберцах тоже. Метро встало. Больницы на автономном режиме. Ни телевизора, ни воды, ни света, ни радио. Ничего. Полностью отрезаны от мира. И случилось-то вечером, часов в шесть. Час пик. Народу битком. А ни метро, ни электрички, ничего. Конец света. Съездил на машине в Жулебино, купил на всех воды. Взял последние три бабьи. Больше не было – всё скупили. Потом ездил за

водой в Раменское. Их не коснулось. Так два дня и сидели. Сидели все вместе, на кухне, зажигали газ, чтобы светло было. Страшно. Но это лучшее, что я помню.

И это – лучшее, что помнит Вика.

- Наиболее подвержены воздействию стихийного бедствия поймы рек Аткара, Медведица, Хопёр, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса. В зоне затопления могут оказаться более 20 километров автомобильных дорог, 12 мостов, около 10 населённых пунктов, до 3,5 тыс. человек. Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, связанные с паводком, прогнозируются в Аткарском, Лысогорском, Балашовском, Пугачевском и Самойловском районах. Общий материальный ущерб от стихийного бедствия может составить 2-5 млн. рублей.

- Пап...

- Слышу.

- Значит, он опять пошёл.

- Да, сил затопить ближайшие дома у него хватит. Но мы же здесь – не переживай.

- А бабушка?

- Она в деревне. В Майском.

- А если затопит его?

- Да какая разница! - разозлился отец. - Пусть хоть всё зальёт. У нас там ничего не осталось.

Ничего не осталось. Никого не осталось. А бабушка?

Вика выходит на улицу. Сквозь серые облака, покрытые дымкой, видно яркое слепящее апрельское солнце.

Ничего не осталось. Всё затопило.

Хочется закричать. Из-за всех сил. Закричать так, чтобы разбились окна соседних домов, чтобы это был крик падающих с неба, задыхающихся на земле птиц или крик человека, оставшегося в глухом лесу, осознавшем, что он один, осатанелого от этой неожиданной свалившейся на него свободы.

Хочется, чтобы солнце упало на землю, сожгло её и возродило вновь.

Но чтобы закричать, нужно набрать в лёгкие воздух. А его нет.

Июнь

Учебный год начнётся только через три месяца, но я продолжаю ходить в школу. Кого-то встречаю, разговариваю. Иногда вижу своих учеников. Их класс не распустили. Они окончили без двоек. В характеристике я написала, что обязуюсь выучить их и выпустить из этой школы. Я думала, что меня уволят. Но меня не уволили. Все теперь ждут сентября.

- Я скоро уеду, - говорит мне Вика, и её серые глаза темнеют. – Не могу здесь больше.

- А школа?

- Там доучусь.

Ей уже пятнадцать, она может взять билет на поезд и уехать. Мне почему-то кажется, что я первая, кому она это говорит.

- Почему вы молчите? Мы, наверное, больше не увидимся.

Я знаю – в её городе ей будет лучше. Там пахнет жизнью. Там живые колокола и живые реки. Живые люди. Всё меняется, и всё остаётся прежним. Таким, каким и должно быть.

Мне бы тоже хотелось уехать куда-нибудь, где бы никого и ничего не было, не было бы всего этого. Но для меня есть лишь здесь и сейчас. А в этом здесь и сейчас пока ничего нет, разве что эта короткая дорога и эти сотни километров, нахоженные нами по ней, как арестованными.

- Береги себя, - говорю.

- И вы.

Мне хочется её обнять, но, наверное, это не принято. Она уедет на следующий день, а в моём городе начнётся ещё одно жаркое лето.

Будет пахнуть расплавленным бетоном, а захочется снега – много-много, чтобы он завалил все дороги, все вокзалы, подъезды домов.

Идём за школу, туда, где вход в начальную, где дети обычно курят после уроков. Садимся прямо на лесенку под крышей. Дождь стучит. Холодно. Но хорошо. Зонта нет, и волосы быстро мокнут, становятся тяжёлыми. Вика их распускает. Они у неё длинные – уже ниже плеч. Отрасти за это время почти до лопаток.

Молчим. Не хочется говорить, но и уходить не хочется.

- Что будете делать? – спрашивает она. - Не уйдёте из школы?

- Нет. Останусь ещё на год. А там посмотрим.

- Сколько вам сейчас лет?

- Двадцать пять.

- Двадцать пять... А что-нибудь изменится, когда мне тоже будет двадцать пять?

- Ну... Морщины вокруг глаз, - пытаюсь шутить я. - Придётся покупать специальный крем.

- Я уже покупаю, - говорит Вика серьёзно.

- Наверное, придётся работать.

- Это не страшно. А что ещё?

Поднимает глаза. Серые. Холодные. Жёсткие. Сейчас они уже не такие, в какие хочется всматриваться долго. А такие, в какие не хочется всматриваться вообще.

Но я всматриваюсь.

- Тогда не знаю. – Говорю. - Ничего не изменится.

Улыбается. Первый раз за всё время. Так, словно её никто не видит.

Вдруг слышится шум, как показывают в военных фильмах при воздушной тревоге. Гул идёт, кажется, по всему небу. Раздаётся эхом. Нарастает. Негромкий, но монотонный и тревожный. Становится трудно дышать. Хочется посмотреть вверх, но там ничего нет - только небо, мутное от дождя.

- Что это? – спрашивает Вика испуганно.

- Учебная воздушная тревога. Последнее время часто включают. Наверное, тренировка. Не бойся. Сейчас пройдёт.

Ждём. И правда, через какое-то время проходит. Можно вдохнуть.

Смотрю на её лицо, пока она не видит, и представляю, как она приехала сюда из своего этого Балашова. Не понимаю, за каким чёртом отец привёз сюда эту девочку? В этот дикий мутный город.

Балашов. Точка на карте. Её почти и не видно. До неё отсюда десять с половиной часов. 596 километров. 596 километров по этим страшным дорогам.

- Знаете... – говорит Вика.

- Что?

- Дождь, похоже, на целый день.

- Похоже.

- Но это лучше, чем то, что было тем летом.

- Лучше.

Опять улыбается.

- Что будем делать? – говорит.

Я пожимаю плечами:

- Может, пройдемся? Хочешь?

- Хочу.

Но мы сидим и не двигаемся.

И хочется сидеть так до вечера. Пока не кончится дождь. Пока не появится солнце. Пока дождь не начнётся опять. Пока не наступит сентябрь. И эти дороги не заполнятся сотнями людей. Бесконечным потоком людей.

Бесконечным потоком людей.

И я вдруг думаю – не было этого года. И предыдущего года. И вообще всех этих лет. Ничего не было. И нет. Есть только здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И

в этом здесь и сейчас – два человека, идущих разными дорогами чёрт знает куда.

...

Через неделю Вика уехала. Вечером, по дороге из школы, я машинально останавливаюсь около её дома, ищу в сумке сигареты, но неожиданно достаю листок бумаги. На ней детским неуверенным почерком написан адрес и стоит подпись «Майское». Листок приятно хрустит в руках. Я достаю телефон и прокладываю маршрут – ехать всего пятнадцать часов.